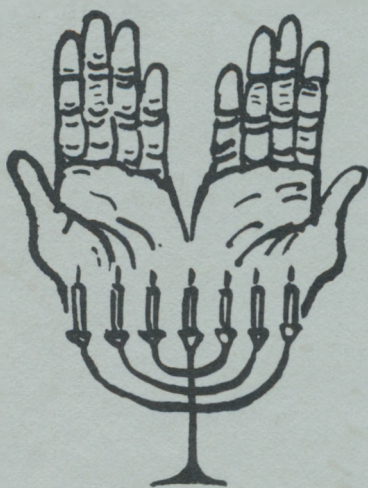


Семен Липкин
Картинны
И
Голоса



САМИЗДАТ

КАРТИНЫ И ГОЛОСА

SEMEN LIPKIN

SCENES AND VOICES

With a foreword
by Vladimir Maksimov

**Overseas Publications Interchange Ltd
London 1986**

СЕМЕН ЛИПКИН

КАРТИНЫ И ГОЛОСА

Предисловие
Владимира Максимова

**Overseas Publications Interchange Ltd
London 1986**

Semen Lipkin: KARTINY I GOLOSA.
With a foreword by Vladimir Maksimov

First Russian edition published in 1986
by Overseas Publications Interchange Ltd
8 Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England

ISBN 0 903868 59 8

Cover design by Andrzej Krauze

Печатается без ведома и согласия автора

Printed in Israel

ПУТЬ ВВЕРХ

Семена Липкина мне пришлось открывать для себя трижды. В первый раз, как человека. До знакомства с ним он оставался в моем представлении не более чем плодовитым переводчиком с языков народов СССР, хотя и с безупречной репутацией. В отличие от своих многочисленных коллег, в том числе и меня грешного, Семен Липкин относился к переводческой работе с поистине самозабвенной отдачей: приступая к работе, изучал литературную, языковую и культурную природу подлинника, вживался в национальный быт автора, старался находить адекватные формы его передачи на русский язык. Переводчики же вроде меня подходили к этому почти цинически: зарифмовал более менее сносно и с плеч долой. Правда, и подстрочники нам доставались соответствующие. Помню, как в Киргизии мне довелось переводить поэму одного Народного поэта республики на пять тысяч строк о пользе суперфосфатных удобрений. Ну да не об этом речь.

Я познакомился с Семеном Липкиным в доме покойного Александра Галича, и в возникшем затем разговоре открыл для себя в нем по-настоящему умудренного жизнью человека с тонким литературным вкусом и неповторимым личным обаянием. Таким он мне и запомнился в моей последующей эмигрантской жизни.

Но вот однажды в адрес "Континента" пришел конверт без обратного адреса, в котором оказались его стихи "Вя-

чеславу. Жизнь Переделкинская”. И я открыл для себя Семена Липкина во второй раз. Теперь уже, как поэта.

Нам здешних жителей удобно разделить
На временных и постоянных.
Начнем же со вторых. Ну как не восхвалить
Семейства елей безымянных!..
Поймем ли мысль берез — белопокровных жриц,
Всем чуждых в этом околотке,
В ветвях орешника густого щебет птиц,
Столь вопросительно короткий,
Среди живых стволов мощь мнимую столбов,
Где взвизги суеты советской
Смешались с думою боярскою дубов
И сосен смутною стрелецкой,
Жасмина, ириса восточный обиход,
Роскошество произрастанья,
В то время как в листьях незримая идет
Работа зрелого страданья,
Качает иван-чай ничтожные права,
Лелея колкую лиловость,
А подорожнику все это трын-трава,
Ему скучна любая новость...

Или:

Погаси во память преданья,
С разумением связь разорви,
Дай мне белую боль состраданья,
Дай мне черные слезы любви!..

Одни эти строки могли бы свидетельствовать, что их мог написать только настоящий и большой поэт. Все последующие стихотворные публикации Семена Липкина лишь вновь и вновь подтверждали это мое первое впечатление. Его имя теперь по праву стало в ряд с крупнейшими поэтическими именами второй половины XX века.

В третий раз я открыл Семена Липкина совсем недавно, когда прочел поступившую на Запад по каналам "Самиздата" его драматургическую, так я определил для себя этот жанр, прозу. "Картины и Голоса". Уже ее начало предвещало для меня встречу с чем-то очень своеобразным и значительным:

"Да нет же, я жил в Пражском гетто, я видел нижние полицейские чины из числа жителей гетто. Но я жил и раньше, в Вавилоне, я пел там: "Как лань стремится к истокам вод, так стремится моя душа к тебе, о Боже". Но я жил еще раньше, я кочевал по земле Месопотамии, и когда, до войны, я переводил калмыцкий эпос, а там говорилось о том, как вытаскивают из земли колья юрт, я вспоминал свой шатер и теплое овечьё руно. Во мне живут голоса тех перекочевков и голоса гетто, и голоса войны — огнепад "катюш", гул дальнобойных пушек, треск неверного волжского льда. А сколько картин живет во мне, — эти бегущие в вольную степь нищие и печальные улицы Молдаванки, и сама эта вольная степь, донская, моздокская, где в голоса полыни и лебеды врывались чужие, нерусские, голоса, и мои блуждания в окружной степи, и тот чердак в разрушенном сталинградском доме, где приютился наш наблюдательный пункт, а внизу румыны устроили конюшню, и мы пять дней не могли спуститься вниз, жили в страхе и в смраде. Картины и голоса, картины и голоса".

Это действительно картины и голоса. Картины и голоса века, эпохи, судьбы. Прежде всего еврейской судьбы. Но только в общем контексте всего народа, страны, человечества, ибо еврейская история неотделима от всемирной истории вообще, а может быть, ею и является.

Не случайно поэтому жизненный путь главного героя Ильи Мироновича Помирчего постоянно пересекается с судьбами людей самых разных национальностей: немца Дитриха Вальтера, русского Александра Гулецкого, польки Казии Яновской. В этой человеческой взаимосвязи заложена глубокая символичность липкинской прозы.

В этом смысле исчерпывающе характерен диалог в од-

ном из гетто в Польше между двумя героями повествования Вольфом Беньяшем и Марией Король:

ВОЛЬФ. Кто-то из греков сказал, что безусые юнцы — самые мудрые философы. Особенно, если они живут в гетто, добавлю я. Старый, надоевший вопрос: почему нас ненавидят? Объясняют это тем, что нас мало в неисчислимом христианском либо мусульманском мире, что среди нас почти нет земледельцев и воинов, а есть ростовщики, мы трусливы, жалки и брезгливы. Дело не так просто, Мария, не так просто. Нам завидуют.

МАРИЯ. Нам, презренным жидочкам? Нам, которые умирают в гетто? Ты еще скажешь, что немцы нам завидуют?

ВОЛЬФ. Немецкий разум нам завидует, Мария. Мы, бесправные, мы нищие, мы крохотное племя, дали христианам — и тем же немцам — и мусульманам Бога, идею Бога, не греческую бабочку — Психею, а душу, разумение ее бессмертия и ничтожества смертной плоти. От нашего завета произошли Евангелие и Коран. Люди во всем мире, белокурые бестии и смуглые азиаты, носят наши, ими на своей ладе искаженные имена. Казалось бы, нас надо благодарно почитать, нас, первыми познавшими Бога. Но обидно, оскорбительно почитать нищих, униженных, зависимых. Либо надо утвердить наше духовное первородство, либо нас убить. И нас убивают. Но в обществе родилась благодетельная сила, спасавшая нас: демократия. Уничтожение льгот и привилегий дворянства, победа третьего сословия — вот в чем было наше спасение. Еврей-большевики, сами того не зная, обрекли на гибель свой народ, потому что большевистское государство есть государство докромвелевское, доробеспьеровское, государство льгот и привилегий. А для евреев свобода — живая вода. Но оказалось, что в сладком и пьянящем напитке свободы есть отрава. Два века демократия властвует в Европе, торжествует в Америке, и два века она вызывает ненависть к себе и гнев, и не только у черни, но и у людей, чей дух высок. Не потому ли так получилось, что демократия развивалась все эти годы без Бога, против Бога? Достоевский вынужден был признать, что нет еврея, нет еврейства

без Бога. Так, может быть, мы его соратники в отвержении безбожной демократии? Нет, он отвергал и нас: пусть они молятся своему Иегове! Своему? Разве Иегова не Бог Достоевского? Разве Иошуа не назвал себя сыном этого самого Иеговы? Разве он не учил людей в религиозных школах — в синагогах? Разве не был он обрезан во исполнение договора с Иеговой? Разве не от нас ведут свою родословную христиане и мусульмане? Достоевский, гениальный ум, не хотел или испугался домыслить до конца. Чтобы отсечь еврейство от человечества, надо отвергнуть Христа. Домыслил не гений, домыслил антихрист.

МАРИЯ. Кто?

ВОЛЬФ. Гитлер. Те, кто веруют в Христа, не могут питать ненависть к евреям. Для того, чтобы уничтожить евреев, надо либо вернуться к язычеству, либо узаконить безбожие”.

В заключение вещи Вольфу Беньяшу вторит русский Александр Гулецкий:

”Человек минус Бог равняется фашисту”.

Сказано, может быть, чересчур категорично. Но в том-то и сила Липкина-прозаика, что он противопоставляет этой категоричности смягчающую мудрость авторской позиции:

”Голубой сентябрьский вечер входит через распахнутое окно в комнату. Над землей загораются многочисленные звездные миры. В наступившей тишине становится явственней голос невидимого моря. Его не видно из-за домов, но оно есть. Не все то есть, что видно, не все то видно, что есть. Что-то древнее и чрезвычайно важное и властное, до содрогания знакомое и нежное слышится троим в голосе моря. А может быть, их не трое, а четверо, и с ними Тот, Незримый, и Он смотрит на детей своих с печалью и Надеждой”.

Уверен, что эта проза — не последнее мое открытие большого русского писателя Семена Липкина.

Владимир МАКСИМОВ
Париж, 1986

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Картина первая

Пролог

Одесса, 1969 год. Я сворачиваю за угол – и не узнаю улицу. Костецкая? Болгарская? А мне хотелось выйти на Мясоедовскую. Почему-то именно на Мясоедовскую. Для нас, жителей города, наименования улиц заключали в себе целый мир, и мир, в них заключенный, не менялся, он по-прежнему был миром детства, веселой красноречивой нищеты, тихого увядания и бурной жизнедеятельности, хотя сами наименования улиц менялись. Например, я знал, что Мясоедовская теперь – улица Шолом-Алейхема.

Я ищу глазами когда-то знаменитую, превосходную больницу для бедных, но вижу новые многоэтажные постройки, стекло и бетон Дома связи, – неужели Молдаванке нужен Дом связи?

Я здесь не был много лет. Я никогда не жил на Молдаванке, но она во мне жила всегда. Я еще не родился, а она уже во мне жила. Ступившие на путь перерождений не помнят о своих прежних существованиях, а я помню все. Я, возможно, способен прощать, но забыть я не в силах.

Во мне не хотят умереть те, кто населял эту крикливую, плачущую, молящуюся и грешившую окраину, добровольное гетто. Я помню ее невысокие дома, с низкими подворот-

нями, ее длиннобородых стариков в ермолках и старух в париках, я помню сверстников моего детства, оборванных забияк и немых ангелов. Электрический пучок воспоминаний сосредоточился для меня в подвале сапожника. Тихий, светлый, летний предвечерний час. Огромный степной закат захватывает обнаженное бессилье домов, подступает к булыжнику мостовых. Сапожник, худой, с открытым беззубым ртом, сидит на ступеньках своего подвала, блаженно отдыхает, а рядом с ним, на его низеньком, с кожаным сиденьем квадратном стуле, читает газету его жена, толстая, в шали в черную и серую клетку, она держит газету вверх ногами, она не знает грамоте, но пусть соседи видят, что она читает.

Где они теперь, сапожник и его жена? Слезы подступают к моим глазам, а улица бежит вдаль, в степь. Как странно, что эта замкнутая окраина устремлена в степь, в полынную причерноморскую волю. О, как печальны были здесь дома, как мучительно тусклы и плоски их стены, как грязны и пыльны их дворы, и среди этой грязи и пыли целомудренно цвели белые акации, как нежные побегги низменной жизни — к чему-то высокому, запредельному.

Где-то поблизости, думаю я, наверное, помещалось, еще в прошлом столетии, извозо-промышленное заведение. Владелец его, грубый и крепкий, как его биндюги, — работает мое воображение, — был широкоплеч, громкоголос, самоуверен, молился в синагоге, в которую входили — мужчины и женщины — через две галереи на втором этаже, и в этой синагоге на Молдаванке он был самым важным прихожанином, может быть, одним из старост, и восседал в цилиндре по праздникам, наслаждаясь протяжным пением кантора, отдыхая от своей конюшни, от ржания лошадей и скрипа телег. А сын его стал знаменитым русским художником, а внук — еще более знаменитым русским поэтом, он крестился, он никогда не видел Молдаванки, но всю жизнь старался подавить ее в себе, раздавить, а она в нем упрямо жила, не хотела умирать.

И не около ли того извозо-промышленного заведения

жил другой поэт, мой товарищ, беспомощный, необразованный, неумный, волоокый, совсем не художник, и все же поэт. Отец его развозил по городу керосин на биндого, он бил своего черноглазого мальчика смертным боем за то, что тот был мечтателен, задумчив, сочинял никому не нужные стихи, не хотел развозить керосин. Потом мой товарищ стал метранпажем в заводской многотиражке, что-то, по глупости, брякнул в тридцать седьмом году, провел восемнадцать лет на Колыме и, реабилитированный, вернулся сюда, на Молдаванку, опять стал работать в типографии, и все писал и писал стихи. Недавно он умер, перед смертью приехал ко мне в Москву, не хотел рассказывать о Колыме, рассказывал о Молдаванке, читал мне, как в юности, свои неумелые строки, и я запомнил не совсем дурные: "Я на телеге медленно трясусь, оглядывая русскую равнину, и мне моя напоминают Русь далекую родную Палестину".

Изменила ли Молдаванку революция? До нее удачливые мальчишки становились торговцами, а способные, с хорошей памятью — врачами, а удостоенные Божьего дара — всемирно известными музыкантами. Революция двинула этих удачливых, способных в чекисты, в комиссары, в моряки, они становились теми, кто расстреливал и кого расстреливали, а их дома оставались в печали, и чахли герани в окнах подвалов и полуподвалов. Дома были возведены из ракушечника, из того же материала возводились дома в Вавилоне. Прочел я об этом или вспомнил печаль вавилонского известняка?

Убили, убили всех, кто не ушел, увели за Пересыпь на бойню и убили. Когда убили? Тогда ли, когда немцы вступили в город осенью 1941 года или давно, в Вавилоне, когда перед пророком Иезекиилем предстали в страшном видении скелеты, говоря: "Иссохли кости наши, пропала надежда наша, погибли мы".

Слезы подступают к моим глазам. Не оттого мои слезы, что я жалею погибших. Тогда отчего мои слезы? "Душа моя жаждет Бога живого. Слезы мои стали для меня хлебом днем и ночью". Откуда эти слова, чьи они? Это я их шепчу или тени убитых?

Почему захватчики были здесь особенно жестоки, почему сразу убили десятки тысяч, почему не создали, как в других местах, гетто?

Что это за слово — гетто? Говорят, что впервые еврейский квартал был создан в Венеции в начале шестнадцатого века, поблизости от пушечного, литейного завода, по итальянски — gheto, отсюда и пошло роковое название. А папа Павел IV приказал, чтобы евреи жили в Риме на левом берегу Тибра, в помещении или на улице, где имелись бы один вход и выход. “Via del pianto” называлась эта римская окраина, “Улица Слез”.

И подступают слезы к моим глазам, те самые слезы. Я иду улицей, чье название менялось, но правильное название одно — Улица Слез. Ко мне приближается житель, он мне кажется похожим на меня. — Скажите, — спрашивает он меня, — вы здесь живете? — Нет, — отвечаю я, и чувствую, что вопрос его серьезен. — А где же вы живете? — Я живу в Москве, но родился в этом городе, приехал сюда, гуляю. — А я живу здесь. Я живу здесь один. На всей улице я один. Другие нашли себе жилье в центре города, а мне не удалось, вернулся после войны сюда. Я здесь один. Увидел вас и обрадовался, решил, что я здесь не один. Извините.

Он удаляется. Непонятно, кругом столько людей, вот и Дом связи построили, а он говорит, что он здесь один. Мне бы поговорить с ним, может быть, он меня бы чему-нибудь научил, может быть, тот, кто одинок, выше, умнее человека из толпы.

Я начинаю вглядываться в лица прохожих. Хорошие, человеческие лица, озабоченные, нервные, незнакомые, но не чужие — русские, украинские. А вот это лицо кажется мне знакомым. Где я видел его? Прохожий, как и я, просто гуляет, у него на Молдаванке нет дела, это видно сразу. Он смотрит на меня, я смотрю на него, мы расходимся в разные стороны, потом я оглядываюсь, он тоже оглядывается: я вспоминаю — не из нашей ли он Волжской флотилии, переводчик, в штабе встречались.

Перед тем, как снова свернуть за угол, я останавлива-

юсь, вижу издали его, он тоже смотрит издали на меня, и уходит, и я ухожу. А может быть, надо было его окликнуть?

В Пражском гетто на башне общинного управления виднелись часы — редкость в ту пору, единственные городские часы. Стрелки на них двигались необычно, справа налево, как буквы Завета. И память моя движется необычно, я сам видел эти часы или читал о них?

Да нет же, я жил в Пражском гетто, я видел нижние полицейские чины из числа жителей гетто. Но я жил и раньше, в Вавилоне, я пел там: "Как лань стремится к истокам вод, так стремится моя душа к тебе, о Боже". Но я жил еще раньше, я кочевал по земле Месопотамии, и когда, до войны, я переводил калмыцкий эпос, а там говорилось о том, как вытаскивают из земли колья юрт, я вспоминал свой шатер и теплое овечье руно. Во мне живут голоса тех перекочевков, и голоса гетто, и голоса войны — огнепад "катюш", гул дальнобойных пушек, треск неверного волжского льда. А сколько картин живет во мне, — эти бегущие в вольную степь нищие и печальные улицы Молдаванки, и сама эта вольная степь, донская, моздокская, где в голоса польни и лебеды врываются чужие, нерусские голоса, и мои блуждания в окруженной степи, и тот чердак в разрушенном сталинградском доме, где приютился наш наблюдательный пункт, а внизу румыны устроили конюшню, и мы пять дней не могли спуститься вниз, жили в страхе и в смраде. Картины и голоса, картины и голоса.

Картина вторая

Мюнхен, осень 1967 года. Длинная Баварская улица. Солнечный беспечный полдень. Юношеские голоса: "Граница! Здесь начинается Восточный Берлин!" Прохожие, смеясь, достают кошельки. Илья Миронович постепенно начинает понимать, что происходит. Один из тех, кого московские газеты с негодованием, но с тайным восторгом называли "хиппи", длинноногий, узкозадый, с головой давно немытого

Керубино, наклонившись, чертит мелом линию поперек тротуара. Это условная граница двух Германий. За переход прохожие должны внести пограничный сбор — один-два пфеннига. Набрав необходимую сумму, хиппи тут же в лавке покупает не нашей формы бутылку яркоцветного вина. Поскольку Илья Мионович советский турист, у него нет лишнего пфеннига. Он благоразумно сворачивает с тротуара, переходит мостовую и входит в скверик. Уже второй год, как Илья Мионович начал чувствовать за грудиные боли. Он знает, что у него еще много времени. Он решает посидеть в скверике на скамье.

Картина третья

Цветут липы. Молодые люди развалились на траве. Один из парней лежит на девушке, его длинные волосы упали на ее лицо, она стриженная, оба, слава Богу, в брючках и курточках. Другие пары просто обнимаются, целуются. Есть и однополые пары.

Все скамьи заняты, главным образом, старухами, как у нас на Тверском бульваре. Одна скамья почти свободна. На ней сидит холеный, превосходно, на взгляд Ильи Мионовича, одетый господин. Ему лет под пятьдесят, он ровесник Ильи Мионовича. К скамье, к задней стороне спинки, прислонены костыли. Илья Мионович, спросив разрешения, садится рядом. У немца спокойное, румяное, круглое лицо, намечается второй подбородок. Ему бы надо сбросить кило пять или шесть, но высокий рост, заметный даже, когда он сидит, делает это необязательным. У него нет ноги. Хорошо вытюженная штанина аккуратно подоткнута.

ГОЛОС ИЛЬИ МИРОНОВИЧА. У нас, пожалуй, не встретишь инвалида такого холеного, спокойного, нарядно одетого, и при этом без протеза.

ОДНОНОГИЙ ГОСПОДИН. Какое безобразие! И мы должны это терпеть. Более того: они нас презирают. Ска-

жешь им слово — поднимут на смех. Одного из них я, кажется, узнаю: он сын преподавателя гимназии, которую кончает моя дочь.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ (*подбородком указывая на отсутствующую ногу*). Война?

ОДНОНОГИЙ ГОСПОДИН. Да.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. На каком фронте?

ОДНОНОГИЙ ГОСПОДИН. Сталинград.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Пуля или осколок мины?

ОДНОНОГИЙ ГОСПОДИН. Обморозил. Обе ноги. Одну спасли русские врачи, когда попал в плен.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. В Мюнхене всегда ранней осенью цветут липы?

ОДНОНОГИЙ ГОСПОДИН. Нет, впервые после войны. Все горожане удивляются: чудо! Судя по произношению, вы не баварец.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Нет, не баварец. Я тоже воевал в Сталинграде.

ОДНОНОГИЙ ГОСПОДИН (*с радостным изумлением*). Товарищ! Вместе, выходит, румынских лошадей варили! Какой полк, рота?

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Я служил напротив. На другом берегу.

ОДНОНОГИЙ ГОСПОДИН. Напротив? Как напротив? (*Потрясенный.*) Вы русский? О!

Илья Миронович смеется, кивает рано поседевшей головой.

ОДНОНОГИЙ ГОСПОДИН. Я полюбил русских. Я благодарен вашим врачам. Нет, нет, коммунистом я не стал. Мой патрон (я юрист, служу в фирме, которая помещается позади этого сквера), голосует за Штрауса, а я — за социал-демократов. У вас это невозможно. Допускаю, что вы правы. Но это не важно. Главное — чтобы мы больше никогда не воевали друг с другом. Только после войны я узнал, как много зла мы, немцы, натворили в мире. При Гитлере мы были слепыми. А что мы сделали с евреями! Это ужасно. У вас есть дети?

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Два сына. Один уже студент.

ОДНОНОГИЙ ГОСПОДИН. Два сына! Чудесно! А у меня только одна дочь. Мы живем втроем: я, моя мать и дочь. У меня прекрасный дом, шесть комнат, две машины, мерседес и фольксваген. Скоро придется третью купить, для дочери.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. У вас нет жены?

ОДНОНОГИЙ ГОСПОДИН (*вертит в воздухе растопыренными пальцами*). Есть подруга. (*Смеется.*) Чем вы занимаетесь?

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Я читаю в педагогическом институте курс истории немецкой литературы.

ОДНОНОГИЙ ГОСПОДИН. То-то вы так свободно говорите по-немецки. И красиво, как на сцене. Теперь у нас редко кто так говорит. Кажется, из Советского Союза приехала целая группа таких педагогов, как вы? Я читал в газете.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Это у нас называется специализированная туристская группа. Едем за свой счет, но намечены деловые встречи с немецкими коллегами.

ОДНОНОГИЙ ГОСПОДИН (*не поняв*). Да, да. Мне, однако, пора: перерыв кончается. Я, как видите, предпочитаю воздерживаться от второго завтрака. Позвольте представиться: доктор Дитрих Вальтер. Буду рад, если вы меня навестите. Двум солдатам есть о чем поговорить. (*Дает свою визитную карточку.*) Здесь адрес и телефон.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ (*смущенно — у него нет и никогда не было визитной карточки*). Профессор Илья Миронович Помирчий. Спасибо за приглашение. Мне будет приятно им воспользоваться. До свидания.

ГОЛОС ИЛЬИ МИРОНОВИЧА. Неплохо бы посмотреть, как живет мюнхенский юрист. Да не разрешат.

ДИТРИХ ВАЛЬТЕР. Я жду вашего звонка, господин профессор. Значит, мы оба были в Сталинграде. Подумать только! (*Довольный, удаляется на костылях легко и быстро.*)

Картина четвертая

Узкое и высокое довоенное здание второсортной гостиницы на Баварской улице. Перед гостиницей, на мостовой — мерседес. У входа в здание стоит Римма Федоровна Сушкова. Ей около сорока, у нее красивые длинные ноги. Странного цвета, но еще молодое лицо выражает волнение. Оно, это волнение, превращается в улыбку, когда Римма Федоровна издали видит приближающегося к ней Илью Мироновича. Зубы у нее неприятные, почти черные.

ГОЛОС РИММЫ ФЕДОРОВНЫ. Наконец-то! Но разве можно было в нем сомневаться? А наш кагебешник ворвался ко мне в номер чуть ли не на заре, я еще желтая была, только приступила к утренней живописи. "Почему вы позволили Помирчию уйти одному? — Всем сегодня позволили, все до обеда свободны. — А знаете ли вы, что вчера вечером его спрашивал у портъе какой-то тип? У евреев всюду родственники. Кагал. — Где же был Помирчий? — В Баварской академии искусств. С частью группы. — Вот видите. — Это вам надо видеть, на то вы и староста. Еврея нельзя пускать по Мюнхену одного". Альберт Сергеевич ушел рассерженный. Досадно, что он застал меня, когда я была желтая. Проклятая язва, мое лицо всегда по утрам, до размалевки, желтое. Я чувствую, что он положил на меня глаз. Тем более — удобно: я единственная в группе, у которой отдельный номер. Остальные, даже Альберт Сергеевич, живут по двое. Слава Богу, Помирчий на месте. Седой, а глаза молодые. Эффектно. Рост средний, пожалуй, выше среднего. Обычные сто семьдесят. Его сын учится у нас на биофаке, красивый мальчик, пишется русским, мне кадровичка сказала. Наверное, жена Ильи русская, говорят, намного старше его, кикимора. Не помню, кто из наших баб мне сообщил, что Илья на меня положил глаз. Надоело жить без мужа. Не женить ли его на себе.

ГОЛОС ИЛЬИ МИРОНОВИЧА. Почему-то у входа в гостиницу стоит Римма Федоровна. Неужели ей не хочется по-

бродить свободно по Мюнхену, ведь всем разрешено, до обеда. Она мне раньше нравилась, но с тех пор, как я в нашей поликлинике, когда сдавал до завтрака продукцию на анализ, — увидел ее желтое, как желток, лицо... Говорят, у нее язва желудка. Или что-то с печенью. А фигура у нее неплохая, она вообще неплохая, знает свой предмет, что теперь не часто встретишь. Не антисемитка. Это точно, есть факты. Впрочем, ничего предугадать нельзя.

ГОЛОС РИММЫ ФЕДОРОВНЫ. Он, что называется, жантильом. У нас в институте все евреи вежливые. Еще бы, попробовали бы иначе. Он беспартийный. Я заметила, что беспартийные евреи гораздо лучше их партийных соплеменников. Партийные нахальные и лстивые. И нудные. И до тошноты серьезно проводят линию партии. Боятся. Мне нравятся поджарые мальчики, молодые сильные руки, сильные ноги, сильные плечи и, конечно... У мужа должны быть другие качества. Жизнь показала, что сочетание в одном лице мужа и любовника почти невозможно. Мои триста (грязных, с вычетом — двести семьдесят) и его пятьсот — это не так плохо. Сдадим мою однокомнатную, приобретем кооперативную трехкомнатную, разрешат, и мне, и ему полагается дополнительная жилплощадь. Его младшему, кажется, четырнадцать, алименты осталось выплачивать только четыре года.

РИММА ФЕДОРОВНА. Здравствуйте, милый Илья Миронович, как хорошо, что вы вернулись пораньше, тут у нас переполох. Альберт Сергеевич, солдат железного Феликса, наклак в штаны.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ (*притворяясь испуганным, смеется*). Кто-нибудь из наших попросил политического убежища?

РИММА ФЕДОРОВНА. Не из наших. Из другой туристской группы. Свердловчане. Удрал комсорг завода. Немцы уже по радио объявили. Альберт Сергеевич приказал мне разбить нас на пятерки, в каждой пятерке выделить ответственного. Свободные одиночные прогулки отменяются. Да, вчера приходил в гостиницу какой-то немец, вас спрашивал. Почему-то именно вас. Вы не знаете?

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Мне уже об этом говорил солдат железного Феликса. Ваш вопрос — его поручение?

РИММА ФЕДОРОВНА. Я одинока, не безгрешна, но я не сотрудничаю. Сама не знаю, почему мне предложили быть старостой группы. Понимаю, что это вызывает подозрение, среди нас есть коммунисты с более древним стажем. Я охотно согласилась, потому что старосте полагается валюты в полтора раза больше, чем прочим. И другие привилегии: у меня отдельный номер.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Я не знал.

РИММА ФЕДОРОВНА. Узнав, подумайте, как этим воспользоваться.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Я имел в виду размер валюты.

Картина пятая

Фойе гостиницы. Против входа — ведущая в номера лестница с замысловатыми перилами, какие делались до первой мировой войны. Рядом с лестницей лифт, старенький. Справа от входа, у окна, которое смотрит на улицу — конторка портье. Еще правее — вход в ресторан. Посредине фойе — круглый стол и кресла. Портье молод, у него, как и у парней в сквере, волосы до плеч, к тому же он их завивает. За его спиной — доска, на которой висят ключи с тяжелыми бляхами. Почти все ключи на месте.

ПОРТЬЕ (*подавая ключ*). Уважаемая госпожа, к вам пришли.

С кресла поднимается и подходит к советским туристам мюнхенский житель. Это ширококостный пожилой человек, в очках, с лицом болезненным, но энергичным, черты резкие, прямой, чуть раздвоенный подбородок, расплющенный монгольский нос. При довольно длинном туловище — короткие ноги. Только еврей мог бы в нем узнать еврея. Одет со вкусом.

МЮНХЕНСКИЙ ЖИТЕЛЬ (*сначала говорит на смеси*

польского, русского, украинского, потом переходит на немецкий). Вы есть группа из Союза?

РИММА ФЕДОРОВНА (без настороженности). Мы советские туристы.

МЮНХЕНСКИЙ ЖИТЕЛЬ. Я до господина Помирчя.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ (по-русски). Я — Помирчий.

МЮНХЕНСКИЙ ЖИТЕЛЬ (как будто делает исключительное важное сообщение). Я тоже Помирчий. Юзеф Помирчий. Я познал в газете, в списке туристов из Союза, ваше на-звиско. То есть фамилия. Помирчий — очень-очень редко на-звиско, я подумал: раз Илья, значит, возможна рич, мы род-ные. Вы умеете идиш?

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Я говорю по-немецки.

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ (с громадным облегчением). Совсем хорошо. Еврей любит искать родственников. Откуда вы?

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Я родился в Москве. Но мои роди-тели из Проскурова.

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Проскуров — это слишком далеко. Мы из Брюховичей, подо Львовом. У отца там было неболь-шое дело — портновский приклад: парусина, волос, ватин, подкладка, нитки, пуговицы, шмуклерский товар.

РИММА ФЕДОРОВНА. Это интересно.

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Только это и интересно. (Вспыхнув.) А потом, в 1939 году, я бежал от нацистов в Союз. Меня де-портировали там в казачью станицу около Сальска. Только казачьей станицы мне не хватало. А потом я был в Освен-циме.

РИММА ФЕДОРОВНА (с искренним участием). И оста-лись живы?

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Кажется, остался. (Смеется.) А я ду-мал, раз Помирчий, да еще Илья, значит, мы родственники. Но давайте, поговорим, мы разберемся, может быть, найдем общих Помирчих. Приходите ко мне в гости, очень прошу. Так приятно встретиться с евреем из Союза. Приходите се-годня вечером вместе с этой любезной госпожой. Ваша суп-руга?

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Спасибо за приглашение. Нет, не супруга. Товарищ по работе. Сегодня вечером...

РИММА ФЕДОРОВНА. Сегодня вечером мы не можем, нас принимает у себя ректор университета.

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. О! Большая честь.

РИММА ФЕДОРОВНА (*неожиданно для Ильи Мироновича*). Но завтра у нас вечер свободный.

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Договорились. Завтра в шесть вечера я за вами заеду. До скорого.

Юзеф Помирчий направляется к выходу. Сквозь вращающиеся стеклянные двери Ильи Миронович видит, как он садится в свой мерседес.

Картина шестая

Дом Юзефа Помирчия высотой в два с половиной этажа. Половину этажа занимает гараж. Дом находится на окраине Мюнхена, недалеко от шоссе, по которому машины движутся к памятному месту — к бывшему лагерю Дахау. В этом районе живут люди среднего достатка, перед каждым домом садик, небольшой, но, на советский глаз, удивительно ухоженный. Странно и то, что садики отделены друг от друга не заборами, как у нас, а невысокими, аккуратно подстриженными кустами.

За столом — четверо: Юзеф Помирчий, его жена Ева, Илья Миронович и Римма Федоровна. Уже выяснилось окончательно, что оба Помирчия — только однофамильцы, не родственники. Уже осмотрели все комнаты (и наверх поднимались), ванну с бассейном, большую, ослепительную кухню с холодильным шкафом во всю стену. Богатой немецкой виллой овладели запахи еврейских блюд. Илья Миронович, уже от многого вкусив, наслаждается куриной шейкой, зашитой белыми нитками. Римме Федоровне национальная еда не по вкусу, кроме того, имея на то основание, она боится за свою язву, но уже выпила много водки (русскую водку принесли гости) и приходится закусьвать. Илья Миронович водки

не пьет, от нее у него бывают ночью загрудинные боли, он пьет из коньячной рюмочки вино либфрауенмилх — "Молоко Богородицы".

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Вы здесь читаете ваши газеты? "Правду", в которой нет известий, и "Известия", в которых нет правды? Что пишут о Ближнем Востоке? У нас только одна газета приветствовала позицию Советского Союза в израильском вопросе: фашистская "Зольдатенцайтунг".

ГОЛОС РИММЫ ФЕДОРОВНЫ. Начинается. Альберт Сергеевич не только разрешил нам пойти в гости, не только посоветовал взять с собой водку в подарок хозяевам, но сказал: "Не отказывайтесь от контактов. В разговорах не обоняйтесь, а наступайте. Что бы ни сказал Помирчий, поправлять его при мюнхенских жидях не надо, это неудобно, даже вредно, вы мне потом все расскажете. Держитесь непринужденно, свободно".

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Почему вы живете не в Израиле, а в Федеративной Германии, да еще в Мюнхене, где начал свою деятельность Гитлер? Вам не противно?

ГОЛОС РИММЫ ФЕДОРОВНЫ. Наступает. И от прямого ответа выкрутился с блеском. Пожалуй, об этом я расскажу Альберту Сергеевичу.

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Так получилось. Длинная история. Я был в Освенциме, Ева — в гетто, она оттуда бежала, мы встретились, когда ваши войска заняли Польшу, нам удалось попасть в Вену — в родной город Евы, а потом мы переехали сюда, в Мюнхен. У меня здесь дело, небольшая фабрика, шестьдесят рабочих. Специальность — дамские брюки. Есть у меня и магазин со складом, он, как и ваша гостиница, помещается на Баварской улице, но в противоположном конце. А в Израиль я ежегодно, накануне Рошгашона, отправляю тысячу долларов в фонд Сохнута. Если бы я был на месте израильского премьера, я бы не с арабами воевал, подумаешь, тоже мне нация, бедуины, я бы сбросил атомную бомбу (у Израиля есть атомная бомба, поверьте мне) на обе Германии.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Если вы так ненавидите немцев, почему же вы живете в Германии?

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Я уже вам говорил: длинная история. Есть причина. А мой зять посылает из Америки ежегодно в Израиль не тысячу долларов, а целых десять тысяч.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ (*к Еве*). Ваша дочь в Америке? Так далеко от вас?

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ (*быстро, не давая Еве ответить*). У нас две дочери. Старшая замужем, очень удачный брак. Зятю принадлежат все пивные городка. Это по-американски – городок, а там почти двести тысяч жителей. Младшая служит переводчицей в парижском аэропорту Орли, она изучила французский и испанский, мы беспокоимся: Париж, знаете, такой город...

ЕВА (*прелестная женщина с волшебными, блестящими глазами. Ей сорок три года. Римма Федоровна уже мысленно отметила, что она превосходно сложена, элегантно причесана, платье не иначе как от Диора. Ева говорит по-немецки литературней своего мужа*). Наша Гетта умная девушка. Я за нее спокойна.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Я догадываюсь, на стене – портреты ваших дочерей. Можно взглянуть?

ЕВА (*обрадованно, с материнской гордостью*). Пожалуйста.

Поднимаются, подходят к портретам. Это цветные фото.

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Вот старшая, Ревекка.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Красавица. Копия матери.

Ева краснеет, как девушка.

РИММА ФЕДОРОВНА (*поправляя Илью Мироновича*). И Гетта очень мила. Похожа на отца, а он у нас мужчина хоть куда.

Ева смущается. Почему-то смущен и ее муж.

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. В будущем году мы на пурим поедем в Израиль. Привезем главному раввину деньги. Он грабитель.

ГОЛОС РИММЫ ФЕДОРОВНЫ. Это я тоже передам Аль-

берту Сергеевичу. Главный раввин Израиля — грабитель. Отлично.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ (*забывшись, негодуя*). Вы называете грабителем главного раввина Израиля? Но ведь это в духе вашей неонацистской "Зольдатенчайтунг". Да и кто вас обязывает давать ему деньги? Впрочем, я никогда не видел ни одного раввина.

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Тоже длинная история. У всех евреев — длинная история. Мою первую жену и сына убили немцы. Я — козн, а кознам религия не разрешает без благословения раввина вступать во второй брак. Наш мюнхенский раввин — дурак и неуч, он требует, чтобы я получил одобрение главного раввина Израиля, и мы с Евой до сих пор не повенчаны.

РИММА ФЕДОРОВНА. Что значит — козн?

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ (*довольный тем, что может объяснить*). Козны — потомки колена священников. Все Коны, Коганы, Когановичи, Куны — козны. Как все Левины, Левитаны, Левинсоны — левиты, нечто вроде дьяконов. Козн — почетный человек, даже если он последний бедняк, ему отводится в синагоге место в первом ряду. Я только не понимаю, почему Помирчий — козн. Я, например, не козн, отец мне бы сказал, мы, Помирчии — плербс.

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Вы как следует не знаете. Не обязательно быть Коганом или там Куном. Мы все, Помирчии, из Брюховичей, козны. Так бывает. У евреев все бывает. Вот я делаю знак козна. Вы так умеете? (*Показывает.*)

Илья Миронович пробует, у него ничего не получается, пальцы не слушаются.

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Теперь вы убедились, что я настоящий козн?

РИММА ФЕДОРОВНА. Простите, у нас, в Советском Союзе, другие законы общежития, выходит, что ваши дочери — внебрачные дети?

Ева взволнована, смущена. Скорее смущена, чем взволнована.

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Тут исключительный случай. Война,

поголовное истребление евреев. Главный израильский раввин цену набивает, но в конце концов даст нам разрешение вступить в брак. И тогда я закрою свое дело, мне пора отдохнуть, я не очень здоров, мы переедем в Израиль. Для дела мне Израиль не годится, Израиль мне нужен для души.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Выходит по-вашему, что главный израильский раввин — взяточник?

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Он не для себя берет. Для нужд Сохнута, для помощи репатриантам. Но мне от этого не легче. *(Поднимается.)* Извините.

Лицо Юзефа Помирчия покрывается потом. Держась за кресло, он приближается к тахте, ложится. Снимает очки. Глаза у него карие, умные, недобрые.

ЕВА. Он очень болен. В Освенциме ему отбили левое легкое. Не беспокойтесь, ему надо немного полежать, и он придет в себя.

РИММА ФЕДОРОВНА *(искренне)*. Какие звери!

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ *(лежа, хриплым голосом)*. Не обращайтесь на меня внимания. Скоро пройдет. Все на свете проходит. У меня, дорогие гости, к вам просьба. Мне надо отыскать у вас одного человека. Я написал в ваше военное министерство, но ответа не получил. В Союзе больше двухсот миллионов, а мне нужен только один человек. Его зовут Виктор Викентьевич Гулецкий. В 1943 году он спас меня от смерти. Он Герой Советского Союза. Майор.

ГОЛОС РИММЫ ФЕДОРОВНЫ. Советский майор спас еврея, мюнхенского жителя. Как в газете. Прекрасное сообщение для Альберта Сергеевича. Солдат железного Феликса будет доволен.

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Извините, еще раз извините, мне уже легче. Я все расскажу. *(Надевает очки.)*

ЕВА. Полежи, тебе сейчас не надо рассказывать. *(К Римме Федоровне.)* Вы ничего не едите. Вам не нравится наше кисло-сладкое мясо?

РИММА ФЕДОРОВНА *(ей не нравится их кисло-сладкое мясо)*. Очень нравится. Но я сыта.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. А я не откажусь, если получу добавок. Вы сами готовите, госпожа Ева?

ЕВА *(с откровенной, веселой гордостью, хорошо улыбаясь)*. Сама.

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ *(лежа на тахте)*. Мы попали в плен. Немцы отступали, поэтому были особенно злые. Они только тогда становятся добрыми, когда начинают понимать, что их окончательно разбили. Не только они такие. Я служил в польской дивизии. Большинство поляков ушло с Андерсом, а в нашей дивизии настоящих поляков было мало, собрали польских евреев, бежавших в Союз и депортированных в разные места, а также советских поляков, которые по-польски не говорили или плохо говорили. Майор Гулецкий по-польски не знал ни слова. Лето было жаркое, позади — Курская дуга, мы уже шли по Белоруссии, и вот попали в плен. Нас, пленных, сорок солдат и офицеров, построили в конюшне. Немецкий обер-лейтенант приказал: "Комиссары и евреи — три шага вперед". Я хотел было сделать эти три шага, но Гулецкий меня удержал. Между прочим, он был беспартийным. Комиссаров и евреев вывели и тут же расстреляли. Для евреев это была хорошая смерть, люксус. Лучше, чем в газовой камере. Нас осталось около двадцати пяти, всех отправили в Освенцим, в том числе Гулецкого и меня.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. И там не узнали, что вы еврей? Никто не выдал?

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Вы же видите, я не очень похож. А польский я знаю даже лучше, чем идиш. Никто не выдал.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. А...

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Осматривали. Я не обрезанный. Мой отец был старый пепезовец, противник религиозных предрассудков. Спасибо ему, но еще большее спасибо майору Гулецкому. Без него я бы в Освенциме погиб. Прошу вас, приложите немного старания, помогите мне его разыскать. Или, может быть, мне написать в вашу газету? У вас это любят.

Илья Миронович обещает постараться. Ему кажется, что он слышит фамилию Гулецкого впервые, но память ему изменяет. Он не только слышал фамилию Гулецкого, он видел его однажды.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Картина седьмая

Ульяновск. Октябрь 1942 года. Пристань. Уже несколько дней идет мелкий дождь. У пристани — пассажирский пароход "Петр Заломов". Пароход приписан в Горьком. Это его последний рейс в 1942 году. Он отвезет пополнение в Сталинград и вернется в Горький, где останется зимовать в затоне до мая будущего года. Пришвартуется он не в Сталинграде, это невозможно, почти весь город у немцев, — а выше, в Николаевке. На ульяновской пристани шум. Люди хотят попасть на пароход, кому надо в Куйбышев, а кому в Саратов, но их не пускают, билеты не продаются. Женщины, молодые и старые, в плюшевых жакетах, торгуют самогонном. Предпочитают деньгам продукты, но у пополнения нет продуктов. Один солдат снял с себя тельняшку и сует ее частной торговке. Та отказывается от товарообмена. Почему-то все солдаты в матросских тельняшках, которые видны сквозь широко распахнутые, что не положено, и рваные, грязные гимнастерки.

Армия ссорится с коммерцией. Постороннему нелегко разобраться в причине споров. Одно ясно: вот этот солдат, желая убедиться в том, что ему действительно предлагают самогон, выпивает для пробы столько зараз, что советская целовальница приходит в неистовство, другой солдат просто вырывает бутылку из-под уксуса из женских рук, и женская матерщина разрывается высоко в сыром осеннем воздухе.

Оглушенный криком, озираясь, по грязной доске, заменяющей трап, на пароход неумело поднимается молодой лейтенант в морской форме. Двадцать пять лет спустя мы с ним увиделись в Мюнхене. Сейчас, на ульяновской пристани, Илье Мироновичу двадцать четыре года. Накануне войны он окончил в Москве институт иностранных языков, с начала войны был мобилизован и направлен на шестимесячные курсы военных переводчиков в городе Ульяновске.

Ему только что присвоили воинское звание, он убывает в распоряжение штаба Волжской военной флотилии, на Сталинградский фронт.

Нижняя палуба полна солдат в тельняшках. Странные это солдаты. Чем-то недовольны, кричат, матерятся, не видно, чтобы у них был командир. Сброд. Палуба заплевана. Грязь, нанесенная с мокрой пристани, смешана с окурками. Некоторые солдаты валяются в этой грязи, курят, думают, даже спят. Как всегда и всюду в подобных случаях, и на этой палубе есть вожак, подавляющий и обвораживающий остальных умом, дерзостью, возможно, физической силой. Он единственный из солдат чисто выбрит. И еще одна особенность: у него вместо гимнастерки — джинсовая куртка, заграничная, в те годы большая редкость. Он благородно красив, благородно пьян. На вид ему лет тридцать.

СОЛДАТ В ДЖИНСОВОЙ КУРТКЕ (*ни к кому не обращаясь, хриплым голосом*). Что такое девиация? (*Формулирует.*) Девиация есть отклонение магнитной стрелки компаса от линии магнитного меридиана, вызванное влиянием близко расположенных намагниченных тел. (*В его глазах зажигается острый пьяный свет.*) Где тут близко расположенные намагниченные тела? Где и когда мы с ними столкнулись? (*Увидев Помирчия.*) Лейтенант, это ты — намагниченное тело?

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ (*растерянно*). У меня литер. Мне каюта полагается.

СОЛДАТ В ДЖИНСОВОЙ КУРТКЕ. Поднимись, лейтенант, к старпому, получишь каюту, раз положено. А нам в Сталинграде другие каюты приготовлены, нам их другой старпом предоставит, товарищ Азраил.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ (*догадываясь*). Ангел смерти?

СОЛДАТ В ДЖИНСОВОЙ КУРТКЕ. Образованный. Ты, наверное, из абрамов?

Илья Миронович, оскорбленный, поднимается по трапу на верхнюю палубу.

Картина восьмая

Великолепно обставленная каюта капитана парохода. Морской блеск. Капитан — женщина, и такая женщина, о которых говорят: русская красавица. Она сообщила свое имя-отчество, но собеседники называют ее Сашей, а Николай Ефимович — иногда Сашенькой. Николай Ефимович — крупный, подстать Саше, сорокалетний мужчина, того русского типа, который смахивает на цыгана, что, как это ни странно, придает его грубому лицу некоторую утонченность. На нем нет погонов, в петлице ромб. Он комбриг. Пока он лежал, после ранения, в ульяновском госпитале, это звание упразднили, и Николай Ефимович, направленный в Сталинград, волнуется, он озабочен: что ему там дадут — генерал-майора или полковника?

Другой собеседник, Илья Миронович, именуется здесь Ильешей. Оба ухаживают за капитаном, оба обалдели от ее невероятной красоты, она, кажется, отдает предпочтение молодому, это раздражает комбрига — тем более, что водку и почти всю закуску выставил он, жалкий вклад лейтенанта — банка бычков в томате. В широком иллюминаторе, выходящем на верхнюю палубу, видны вдали, в серой осенней мгле, неясные очертания домов, высокий обрыв, может быть, думает Илья Миронович, — тот самый, гончаровский.

КОМБРИГ (*по всему виду — он ходок*). Широка Волга, глаза радуются. У нас, в Сибири, все реки широкие. И люди — с широким сердцем.

САША (*окая*). Я природная волжанка, в Нижнем родилась. Мы там все волжские города по-старому называем: не Горький, а Нижний, не Куйбышев, а Самара, не Ульяновск, а Симбирск. Только Сталинград не называем Царицыном. Да, на этой реке родилась, могла бы, кажется, привыкнуть, сколько лет хожу по Волге, сперва с отцом, он у меня потомственный речник, потом студенткой-практиканткой, потом старпомом, а как война началась, меня капитаном назначили, все хожу по Волге, а никак на нее не налюбуюсь, все

ее волошки знаю. В песне про нее поется: красавица. Но красавица, пока молодая, всегда одна и та же, а Волга каждый раз другая, красивая, но другая.

КОМБРИГ *(говорит не то, что хочет сказать)*. Самая большая река в Европе.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ *(чтобы быть ближе к цели)*. Ваш муж — тоже речник?

САША *(у нее ровные белые зубы)*. А почему вы уверены, что я замужем?

КОМБРИГ. Такую не оставят без внимания.

САША *(теперь без кокетства)*. Мой муж — штурман дальнего плавания. Он окончил одесский водный институт, мы с ним вместе стажировку проходили. В заграничии и познакомились. Виктор сейчас далеко, в Мурманске. Южанин, а на Севере.

КОМБРИГ. Ленд-лиз?

САША *(опять кокетливо)*. Военная тайна. *(Серьезно.)* Его рейс Мурманск — США и обратно.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. И дети у вас уже есть?

САША. Нет у нас, Ильюшечка, детей. Мы всего три года, как женаты. Успеется. После войны заведем, вызовем из Кировограда мать Виктора, пусть внука нянькает. А я без матери росла, умерла она у нас рано.

КОМБРИГ *(сочувственно, но бодро)*. Значит, воспитывала другая мать — Волга-матушка?

САША. Она.

КОМБРИГ. Сашенька, тебя только в войну назначили капитаном "Петра Заломова"?

САША. На этой посуде я впервые. Вообще-то я команду "Яковом Свердловым". Но наши умники выбрали именно меня, женщину, для того, чтобы на "Петре Заломове" отвезти в Сталинград штрафников.

КОМБРИГ. Идет война народная, а сволочь у нас не поывелась. У них там, внизу, есть командир, комиссар?

САША. Не знаю. Кажется, есть командир, но я его видела только один раз, когда он привел свою ораву ко мне на борт.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Почему мы так долго стоим в Ульяновске?

САША. Здесь штаб тыла Волжской военной флотилии. Ждем еще одну партию штрафников. Я боюсь сойти вниз. Уж какого хулиганья на Волге не навидалась, а эти... И мой старпом их боится, прячется, где — не знаю, бусой, наверное, каюта его пуста. А мне сейчас как раз надо проверить, как дела в машинном отделении. *(Неожиданно плачет.)* Господи, если бы вы могли понять, как мне тяжело, как я тоскую без Виктора, как он мне нужен, сию минуту нужен!

КОМБРИГ. Понять нетрудно, Сашенька. Ты молодая. Кровь бьет.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ *(Сашины слова всколыхнули в нем лучшие чувства)*. Нельзя так, товарищ комбриг.

Комбриг собирается поставить на место зарвавшегося лейтенанта, но тут внизу раздается такой шум, будто падают тяжелые ящики. Саша вздрагивает. Комбриг поднимается из-за стола, чтобы навести внизу порядок, да и Саше показать себя. Впрочем, он действительно смел и решителен.

КОМБРИГ. Спускаюсь к друзьям.

Картина девятая

Нижняя палуба. Двое солдат дерутся. Лица обоих в крови. На них смотрят лишь немногие. Например, солдат в джинсовой куртке дремлет на полу, лежа на спине и положив под голову сомкнутые руки. С трапа спускается комбриг.

КОМБРИГ. Прекратить драку! Прекратить приказываю!

СОЛДАТ В ДЖИНСОВОЙ КУРТКЕ *(приоткрыв глаза, лениво)*. Ты кто такой?

КОМБРИГ. Встать, когда с тобой разговаривает старший по званию!

СОЛДАТ В ДЖИНСОВОЙ КУРТКЕ *(поднимаясь — с вызовом — медленно)*. Какое у тебя звание?

КОМБРИГ. Как стоишь? Как разговариваешь?

СОЛДАТ В ДЖИНСОВОЙ КУРТКЕ. Повторяю вопрос. Какое у тебя звание?

КОМБРИГ. Товарищи краснофлотцы и красноармейцы, стыдитесь! Мать-родина вас зовет, а вы? А ведь, наверное, были комсомольцами, даже коммунистами. Кто у вас за старшего? Пусть мне доложит обстановку. Вы что, разучились знаки различия разбирать? Я — комбриг.

СОЛДАТ В ДЖИНСОВОЙ КУРТКЕ. Такого звания в нашей армии нет. (*С актерской тревогой обращаясь к остальным.*) Братва, может, шпион?

КРИКИ. Вязать его, гада!

СОЛДАТ В ДЖИНСОВОЙ КУРТКЕ. Зачем вязать. А ну-ка, хватайте его!

Комбриг пытается вытащить из кобуры свой "Те-те". Солдаты на него кидаются, валят. Солдат в джинсовой куртке снимает с комбрига ремень с личным оружием. Несколько солдат раскачивают комбрига и бросают его за борт в Волгу. Смех. Ликующая матерщина.

СОЛДАТ В ДЖИНСОВОЙ КУРТКЕ. Человек за бортом. Как у Стивенсона!

Появляются Саша и Илья Миронович. Они уже сверху увидели барахтающегося в реке комбрига.

САША (*оцепенев перед солдатом в джинсовой куртке*). Виктор!

Виктор Гулецкий, не выпуская из рук ремня с кобурой и револьвером, смотрит на жену. Все молчат.

Картина десятая

Начало ноября 1942 года. Через две недели начнется наше наступление по всему Сталинградскому фронту. Сталинград. Вернее, то, что от него осталось. Среди развалин как-то ухитрился уцелеть довоенный памятник Хользунову, теперь забытому герою. Правый берег. Раннее утро. По Волге плывет ледяное сало. Из двухэтажного кирпичного дома спускаются к реке двое немцев. Один из них, кажется, в большом чине. Немцы видны двум нашим разведчикам, затаившим-

ся в развалинах, на чердаке полуразрушенного дома. Они в ватных брюках и ватниках БУ. Второй немец — унтер-офицер. Если мы взглянемся в него попристальней, то узнаем в нем Дитриха Вальтера, будущего юриста солидной фирмы. У него пока еще целы обе ноги, и никак нельзя назвать его толстяком, уж это точно. Он держит полотенце, мыло, еще что-то, возможно, зубную щетку и пасту. Тот, кто поважнее, раздевается до пояса, моет лицо, руки, грудь ледяной волжской водой, приказывает унтер-офицеру, и тот обливает его спину, зачерпнув из Волги воду одной рукой. Моющийся немец не обращает никакого внимания на то, что близко ложатся осколки: с нашего берега стреляют по невидимой цели вмерзшие в Ахтубу корабли Волжской военной флотилии.

ВИКТОР ГУЛЕЦКИЙ. Душу он мне обжигает.

ВТОРОЙ ШТРАФНИК (*с восхищением*). Плевал на жизнь как баба на утюг.

ВИКТОР ГУЛЕЦКИЙ. Взять бы его.

ВТОРОЙ ШТРАФНИК. У нас другое задание.

ВИКТОР ГУЛЕЦКИЙ. Задание, задание. А не вредно было бы нам с тобой взять его.

ВТОРОЙ ШТРАФНИК. Ты за болтовню или за попытку самострела?

ВИКТОР ГУЛЕЦКИЙ. Убийство.

ВТОРОЙ ШТРАФНИК (*с уважением*). Иди ты.

ВИКТОР ГУЛЕЦКИЙ. Мы везли из Штатов военный груз. Порт доставки — Мурманск. Я чистил ружье, не доглядел, оно выстрелило. Убил американского матроса. Все видели, что убил нечаянно, даже американцы подтвердили, что нечаянно, но комиссар давно ко мне придирался — и вот штрафной батальон морской пехоты.

ВТОРОЙ ШТРАФНИК. Почему тот комиссар к тебе придирался?

ВИКТОР ГУЛЕЦКИЙ (*задумчиво*). Я в партию не хотел вступать, а он меня все уговаривал, уговаривал. Надо-

ел я ему. *(С внезапным подозрением.)* Ты-то за что? За болтовню? Или за драку на берегу?

ВТОРОЙ ШТРАФНИК. Изнасилование. Мы стояли на перестроении, приклеили дело. А у нас было с ней согласовано. Известно: сучка не схочет, кобель не вскочит. Ей шестнадцати еще не было... Слушай, баланду травят, доказывают, что если геройство проявишь, через три месяца в прежнем звании восстановят. Я старший лейтенант. А ты?

ВИКТОР ГУЛЕЦКИЙ. Я же не был военнотружущим. Думаю, как штурману дальнего плавания, мне могли бы дать капитан-лейтенанта. А могли бы и не дать.

Внезапный, тяжелый гул набегаёт грозно и страшно с левого берега. "Катюша" выбрасывает свой драконовидный огонь ало-синего цвета. Он закрывает все небо. Земля дрожит, будто перекатываются волны суши. Когда огонь исчезает в себе самом, а это происходит не сразу, открывается глазам убитый немец.

ДИТРИХ ВАЛЬТЕР *(кричит, в голосе плач)*. Her Oberst!
Her Oberst!

ВИКТОР ГУЛЕЦКИЙ. Полковник, оказывается, был. Жаль, не взяли. И он, лопух, в живых бы остался, и нам бы подфартило. Шутка ли, полковник.

ВТОРОЙ ШТРАФНИК. Почему ты знаешь, что полковник?

ВИКТОР ГУЛЕЦКИЙ. Слышишь, как живой кричит:
Her Oberst!

ВТОРОЙ ШТРАФНИК. Ты по-фрицевски понимаешь?

ВИКТОР ГУЛЕЦКИЙ *(дурно произнося)*. Ай спик ол форен ленгвиджес.

Картина одиннадцатая

Поселок Средняя Ахтуба. Февраль 1943 года. Ночь под воскресенье – второе воскресенье после освобождения Сталинграда. Командование Волжской военной флотилии, как и другие части Сталинградского фронта, организовало в честь небывалой победы банкет. Пир происходит в просторной,

хорошо, по-флотски оборудованной землянке, очень чистой, под несколькими накатами, с гладким деревянным полом. Здесь помещается штаб флотилии. Все другие, находящиеся поблизости землянки, называются по-корабельному: салон, кают-компания, камбуз, галльон и т. д. Краснофлотцы и старшины сейчас пируют в каютах в камбузе. В салоне мебель почти роскошная, она перенесена туда с большого волжского пассажирского парохода. Салон слишком мал для такого количества приглашенных, в него перейдут только избранные, но попозже. Кресел и стульев на всех не хватает, те, кто помельче званием, устроились на табуретках, которые, тоже по-морскому, именуются банками. Во главе стола, как положено, — командующий флотилией и член Военного Совета, справа — начальник штаба, слева — начальник политотдела, далее сидят офицеры, нисходящие по рангу, сотрудники штаба и политотдела, начальник особого отдела, командиры канонерских лодок, соединений бронекатеров, командир полка морской пехоты, главный врач флотилии, до войны гинеколог, редактор флотильской газеты. В конце стола, на доске, опирающейся на две табуретки, сидят самые младшие по званию и по должности: машинистки, пожилая и помоложе, и четыре старших лейтенанта, среди них — Илья Помирчий, военный переводчик.

Стол обильный, много водки, даже для сидящих в самом конце на перекладине есть икра, правда кетовая (а для командования — и зернистая, и красная). Расселись, как сказано, сообразно званию и должности, но есть одно бросающееся в глаза исключение: во главе стола, сбоку от командующего флотилией контр-адмирала Бережного, виднеется младший лейтенант медицинской службы Казя Яновская, смышленная золотоголовая русалочка, полька из Киева. Обычно она держится скромно, точнее — скромно-кокетливо, но она выпила лишнего и, обращаясь к командующему флотилией, называет его Ванюшкой: она любовница контр-адмирала. От нее многое зависит, например, повышение в звании и боевые награды. Ее поведением явно недоволен полковник береговой службы Зарембо, член Военного Со-

вета. Он самый умный человек во флотилии, так, по крайней мере, считает Илья Помирчий, — может быть, потому, что Зарембо к нему хорошо относится, особенно это стало заметно с того дня, когда Помирчий заменил заболевшего старшего переводчика, работал при штабе фронта во время допроса Паулюса, и так ловко и быстро переводил ответы фельд-маршала, что заслужил одобрения самого Еременки.

Казя Яновская, которая презирает и боится своего командующего, сладко чувствует, что у нее кружится голова, она думает о том, что если начнутся танцы на свежем воздухе, она, в паре с Ильей Помирчим, сообщит ему завлекательным голосом, что он награжден орденом Красной Звезды, завтра он об этом узнает официально. Старший лейтенант ей нравится, ей кажется, что и она ему нравится, но он, ясное дело, опасается иметь любовь с пепеже самого командующего. Когда стало известно, что Помирчия похвалил Еременко, она, встретив Илью в землянке штаба (хотя сама в целом тоненькая, а медаль "За боевые заслуги" не висела, а лежала на ее кителе), спросила: "Мысли вы тоже умеете переводить?" — и двинулась дальше, обольщая. Есть ли у него девушка? Такие вежливые, интеллигентные всегда имеют подход и всегда умеют помалкивать. Надо попытаться, найти случай поговорить.

О чем размышляет Бережной? Это никому никогда не известно. Все понимают, что командующий Волжской военной флотилии надеется получить орден Ленина и звание вице-адмирала, но глаза его ничего не выражают, никогда ничего не выражают. Даже в детском условном рисунке лица, даже в манекене больше живости и разумения, чем в глазах Бережного. Видимо, это ценное свойство помогло ему сделать карьеру. В 1930 году он, рабфаковец, был направлен комсомольской ячейкой на Балтику, стал краснофлотцем и, за тринадцать без малого лет флотской службы, дослужился до контр-адмирала. Катализатором процесса было сначала сталинское уничтожение прежних кадров, потом война.

Член Военного Совета Зарембо не сработался с коман-

дующим. Обычно такую несработанность в руководстве многие объясняют властолюбием враждующих лиц, завистью, естественным у нас стремлением к доносительству друг на друга. Упрощают. Даже советским начальникам присущи обычные свойства людей. Члена Военного Совета раздражает глупость командующего. Бывает глупость приятная, милая, податливая. Глупость Бережного тверда, как гранит, и неприступна, как воздух. К тому же Зарембо заметил, что Бережной трусоват. Когда решили навестить, подбодрить моряков на правом берегу, где в развалинах домов притаились наши НП в городе, занятом немцами, Бережной вдруг, именно в ту заранее назначенную ночь перехода, простудился, пришлось Зарембо идти по волжскому льду без командующего.

С офицерами Бережной груб, грубее, чем с матросами, иных, рассердившись, бьет, командира соединения бронекатеров, капитан-лейтенанта Каутского, обозвал жидовской харей.

ГОЛОС ЗАРЕМБО. А мы сейчас Каутского представили к званию Героя Советского Союза. Каутский отчаянный. Страх не знает... Вот тебе и еврей. И начитанный. Я ему как-то говорю: "Громкая у тебя фамилия, Захар". А он: "И у вас, товарищ член Военного Совета, громкая фамилия". "Это почему?" — "А в трилогии Сенкевича есть герой пан Зарембо". — "Вот как. Что за писатель?" — "Всемирно известный польский классик". Отвечает без нахальства, спокойно, а нас бомбят посредине Волги... Дам ему тост произнести.

Захар Каутский поднимается с табуретки. Он небольшого роста, широкоплечий, с головой огромной и плотной курчавости, надвигающейся над узким лбом. Он знает от дружков из штаба, что представлен к высокой награде, но не предполагал, что ему на банкете окажут такой почет, дадут слово для тоста. Держа стакан с водкой, картавит:

— Мы, сталинградские моряки, с именем Сталина...

— Смирно! — заглушает его, вскакивая, Бережной.

Все встают.

В землянку, в сопровождении небольшой свиты, вступает, слегка прихрамывая, командующий фронтом генерал-полковник Еременко. Это ему было предназначено кресло, таинственно пустовавшее между Бережным и Зарембо. Уже Илья Помирчий спрашивал себя: "Для кого это кресло? Может быть, для Ильи-пророка, как у евреев на пасху?"

Бережной рапортует, Еременко привычно, скучно слушает, потом направляется к креслу. Офицеры освобождают места для его свиты. У будущего маршала лицо простонародное, но не крестьянское, а такое, как у когдатюшних швейцаров в важных ресторанах или у дворников доходных домов. В быстрых глазах за очками под морщинистым лбом — природное понимание людей, солдатская, ефрейторская хитреца то и дело сменяется в них властной угрюмостью. Он объезжает в эту ночь пирующие штабы всех подчиненных ему крупных подразделений, но усталости не чувствует. Он нигде не пьет, выпьет у себя, со своими, но он пьян, пьян сталинградской победой, поздравлением Сталина. Все садятся, кроме Захара Каутского, который, держа стакан, не знает, как ему быть.

ЕРЕМЕНКО *(в его полководческой памяти сохранился Каутский)*. А, ренегат. Тост толкаешь? Ну-ну, давай. Помнишь, как ты меня к Родимцеву, к трубе перевозил? Ох, и огонь же над нами навис. Узнал меня, что ли, Паулюс в лицо? Кабы не ты, не сидеть мне за этим столом.

КАУТСКИЙ *(безумно счастлив)*. Да здравствует Суворов наших дней, генерал-полковник...

ЕРЕМЕНКО *(доволен, но прерывает)*. Все мы внуки Суворова, дети Чапаева. *(К Бережному.)* К Герою ты его представил?

БЕРЕЖНОЙ. Так точно, товарищ командующий фронтом, представил.

ЕРЕМЕНКО. А того, штрафника, представил? *(К Зарембо.)* Сорок шесть "языков" доставил Горохову на Рынок! И когда: в августе и в сентябре, когда вся немецкая сила шла на нас. Сорок шестого при мне привел, Горохов его расцеловал, сказал: "Нужен мне румын, вот как нужен, приведишь?" — "Приведу, товарищ полковник, да на что он вам?"

Все равно, что Паулюсу узбек". Тут я вмешался: "Докладывай о себе", — говорю. Дьявол, не человек! Докладывает: "Бывший штурман дальнего плавания, ныне временно солдат штрафной роты". — "Почему временно?" — "На справедливость надеюсь". — "Как фамилия?.." (*К Бережному.*) Вот фамилию забыл.

КОМАНДИР ПОЛКА МОРСКОЙ ПЕХОТЫ (*встает, осмелев*). Гулецкий ему фамилия, товарищ командующий.

ЕРЕМЕНКО. Да, Гулецкий. Я ему тут же сказал: "Был солдат, а теперь капитан". На поле боя присвоил. (*Опять к Зарембо.*) Одобряешь, политик?

ЗАРЕМБО. Офицерское звание он заслужил. Имеет высшее гражданское морское образование. Храбр. Инициативен. Но озлоблен.

ЕРЕМЕНКО. На кого? На немца?

ЗАРЕМБО. В партию его никак не вовлечешь. Лично беседовал с ним. Не ясен.

ЕРЕМЕНКО. К Герою представлен?

БЕРЕЖНОЙ. У нас с членом Военного Совета есть мнение пока воздержаться.

ЕРЕМЕНКО (*на месте Бережного он поступил бы так же, понимает его, но радуется своей возможностью быть справедливым, смелым*). Почему? Может, тебя, матра, вместо него к Герою представить? Он в партию не лезет, потому что не карьерист. Героем сделают — вступит.

БЕРЕЖНОЙ. Он поляк.

ЕРЕМЕНКО (*так удивлен глупостью Бережного, что даже не сердится*). Ну и что? Рокоссовский тоже поляк. Дзержинский был поляк.

КАЗЯ ЯНОВСКАЯ. И я полька, товарищ командующий фронтом.

ЕРЕМЕНКО (*Бережному*). Почему сидит не там, где полагается? Слышишь, — не там, где полагается! Твоя блядь? А ну-ка, старая матра, выкинь ее сраной жопкой на чистый снег! (*Успокоился, понимает, что ждут от него других слов, торжественных, ведь победа неслыханная. Встает. Все встает.*) Благодарю вас, товарищи моряки, за матросскую, ко-

мандирскую службу. Хорошо вы дрались. Я уверен, что все, кто отважно воевал, не жалея своей жизни, будут отмечены боевыми правительственными наградами. Спасибо "Усыскину" и "Чапаеву" за огонек, спасибо бесстрашным бронекатерам, морской пехоте, смертникам, можно сказать. Спасибо всем героям в тельняшках. Слава великому Сталину, гениальному полководцу всех времен. До новых побед, товарищи! Ура!

ВСЕ (от души). Ура!

ЕРЕМЕНКО (Бережному). Не будет Гулецкого в списке, так я тебя... (Грозит кулаком и удаляется со свитой.)

Зарембо доволен унижением Бережного и Казы. Впрочем, довольны все. Казя плачет. В глазах Бережного тускло возникает что-то похожее на мысль.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Картина двенадцатая

Горький. Первые майские дни 1943 года. Сад у кремля. Он еще не отделен, как теперь, лестницей от "Откоса" — городского бульвара на берегу Волги. Вечереет, но день еще светел, бледно-розов, вода Волги вблизи серая, подальше — сиреневая. По ней плывут редкие суда. Приближается к берегу большой пароход "Молотов", на нем возвращаются из Пермской (тогда — Молотовской) области эвакуированные, главным образом, женщины и дети. Между Сталинградом и Ензтаевской "Молотов" подорвется на речной mine, речные мины опаснее морских, они долго прячутся в прибрежных кустах, и вдруг ветер выносит их на стрежень.

Люди с "Откоса" и кремлевского сада машут пароходу, незнакомым его пассажирам, большинство которых погибнет. Людей много, и сидящих на скамьях, и гуляющих. Здесь и голодные старухи, и дети, и тыловые солдаты, матросы и офицеры с подругами из местного населения, подругам ве-

село, потому что у них есть кавалеры, пусть даже однодневные, а у других нет. Сталинград отгремел в феврале, Курская дуга еще не запылала, в майском воздухе отчетливы дыхание деревьев, дыхание Волги, в нем надежда, молодое желание жить, и хотя идет страшная война, — вечная вера в то, что дыхание деревьев, светло-розовый блеск вечеряющего дня, весенняя душа Волги, этот большой пароход с возвращающимися эвакуированными сильнее смерти, победят смерть.

На одной из скамей — двое в морской форме: Герой Советского Союза майор Гулецкий и его жена Саша, капитан речного флота. Виктор Гулецкий чему-то своему смеется.

САША. Тебе смешно.

ГУЛЕЦКИЙ. Увидел — пассажирский приближается и вспомнил, как мы твоего выбросили за борт. Вода холодная была, ведь октябрь. Долго он обсыхал?

САША. Я так гордилась тобой, так тосковала по тебе, ждала, никого не замечая, а ведь ты знаешь, как на меня смотрят мужики. Зыркают зыряне. Ты не хочешь меня понять, а мог бы, если бы любил меня, как я тебя любила. И люблю. Что было со мной, когда я тебя увидела среди этого сброда на грязной палубе. Мой Виктор, мой умный, смелый, красивый, стал пьянью, штрафником! В ту минуту я готова была себя убить. И тебя убить. Но я пересилила себя, позвала тебя в свою каюту, ждала, ждала раскаяния, любви. Конечно, я бы простила тебя, а ты...

ГУЛЕЦКИЙ. Что именно ты бы мне простила?

САША *(не отвечая на единственно разумный вопрос)*. Врать не буду, его не люблю, только тебя любила, но я благодарна ему, он дает мне то, что мне сейчас нужнее всего: он обожает меня. В марте приехал ко мне полковником, мы зарегистрировались, пробыл две недели и опять на фронт. Письмки присылает: то летчик привезет, то шофер на грузовике. Снабжает.

ГУЛЕЦКИЙ. Как ты при живом муже с другим расписалась?

САША. Я запросила Мурманск, мне прислали справку, что ты пропал без вести.

ГУЛЕЦКИЙ. Он посоветовал?

Саша молчит.

ГУЛЕЦКИЙ. На каком он фронте?

САША. Военная тайна. *(Впервые улыбается, показывая крупные белые зубы.)* В штабе у какого-то Ватутина. Знаешь?

ГУЛЕЦКИЙ. Не слышал. Колбаса в американской банке — из тех посылок?

САША. Почему ты приехал ко мне в Нижний?

ГУЛЕЦКИЙ. Я мог бы поездом прямо в Москву, мне туда сначала надо, но, когда я выписался из госпиталя, я там после ранения почти два месяца припухал, наши ребята предложили мне пойти до Горького на корабле, зачем в вагоне пыль глотать, вонь нюхать, когда есть корабль, он здесь чиниться будет, каюта чистая, питание флотское, опять же Волга. А Москве Нижний — брат ближний, сегодня выедем, завтра в Москве, одна ночь в поезде. Впрочем, я не спешу. Не очень спешу.

САША. Не о том тебя спрашиваю. Раньше ты был открытый, не крутил. Я спрашиваю, почему ты ко мне приехал, ночь у меня провел, почему близость у нас была.

ГУЛЕЦКИЙ. Я не знал, что ты другого успела найти, а когда узнал...

САША. Разозлился? И со мной лег со зла? Вроде мстил? Хоть ты и Герой Советского Союза, а дерьмо.

ГУЛЕЦКИЙ *(вяло)*. Я не только тебя потерял, Саша. Я себя потерял. Не знаю, чего хочу, двигаюсь так, как мне велят. Автоматика срабатывает. Сказали мне — корабль идет в Горький, давай на борт, я вспомнил, что мы с тобой жили в Горьком, что ты сейчас там, и согласился. Направляют меня в польскую дивизию освободить родину дедушки и бабушки от моря до моря, ведь я моряк. А я по-польски ни в зуб, в костеле был всего один раз в детстве, хотя считался — католик. Что мне эта польская дивизия.

САША. А что тебе я?

ГУЛЕЦКИЙ. Не знаю. Ничего не знаю. Ничего не хочу.

В том-то и беда. Все мне надоело. Думаешь, только ты от меня отказалась? Вся жизнь от меня отказалась, вся жизнь меня обманула, предала, а чего хочу вместо обмана — не знаю.

САША (*глядит его по руке*). Скажи мне только одно слово, и я порву с ним, напишу обо всем Николаю Ефимовичу. Ты не думай, я всегда верила в тебя, продолжала верить, и когда ты ко мне вошел с геройской звездой, я не удивилась, обрадовалась, но не удивилась. Ты теперь в партии?

ГУЛЕЦКИЙ. Не вступал и не вступлю. Кто такой Николай Ефимович?

САША. Муж. Скажи одно слово, и я буду тебя ждать.

ГУЛЕЦКИЙ. Жди меня и я вернусь.

САША. Вика, это правда или стих?

ГУЛЕЦКИЙ. Стих, Сашенька, глупый стих. Правды нет. Есть глупый стих.

САША. Что с тобой стало. Ты был веселым, остроумным, волевым. Теперь скучный, недобрый. А еще герой. (*Догадываясь.*) Медсестра, которую мы здесь ждем... У тебя с ней что-то есть?

ГУЛЕЦКИЙ. Ничего у меня с ней нет. Она полька, потому и ее из флота перевели в польскую дивизию. И мы едем вдвоем.

САША. Где она ночевала?

ГУЛЕЦКИЙ. На нашем корабле.

САША. Она знает по-польски?

ГУЛЕЦКИЙ. Песни польские поет. Да вот и она.

САША. Аккуратная. Что на лицо, что походка.

ГУЛЕЦКИЙ. Может быть, может быть. Она была пепеже нашего командующего. Стервочка.

САША. Все польки продажные.

ГУЛЕЦКИЙ. Ценная мысль.

Казя Яновская обводит глазами скамьи, видит Гулецкого, приближается. На высоких каблуках она кажется еще тоньше, можно подумать, что морской китель был задуман для высокогрудых.

КАЗЯ. Товарищ майор, младший лейтенант медицин-

ской службы Яновская прибыла на randevу в назначенное время.

ГУЛЕЦКИЙ (*механически отдавая честь*). Знакомься, Саша.

КАЗЯ (*протягивая руку*). Казимира.

ГУЛЕЦКИЙ (*встает*). Нам пора, Саша. Может, проводишь нас немного?

Саша молчит. Гулецкий наклоняется к ней, чтобы поцеловать. Саша, продолжая сидеть, подставляет щеку.

САША. Идите, а я устала, посижу. Виктор, от всей души желаю тебе вернуться живым и здоровым. (*Казе.*) И вам того же.

Саша сначала не хочет смотреть вслед уходящим, но потом все-таки оборачивается и видит, что Гулецкий остановился. Он машет ей рукой. Саша поднимается, тоже машет рукой, плачет. Те двое не видят ее слез, идут дальше.

КАЗЯ. Откровенная женщина.

ГУЛЕЦКИЙ. Как ты до этого додумалась?

КАЗЯ. Признается, что устала. Не выспалась сегодня, значит. У вас есть вкус, товарищ майор. Женщина – вот. (*Щелкает пальцами.*)

ГУЛЕЦКИЙ. У меня есть вкус.

КАЗЯ (*она всегда надеется, что все будет так, как ей хочется.*) Вы, конечно, здесь бывали и раньше, дорогу на вокзал знаете.

ГУЛЕЦКИЙ. Представь себе, забыл.

КАЗЯ. Спросим у прохожих.

ГУЛЕЦКИЙ. Дороги не знает никто.

Казя поднимает огромные голубые глаза. Ей непонятен ответ Гулецкого.

ГОЛОС КАЗИ: Сильный, загадочный.

Картина тринадцатая

Освенцим. Лето 1943 года. Через двенадцать лет Большая Советская Энциклопедия даст справку: "Освенцим –

город в Краковском воеводстве. 12000 жителей (1953). Выделка кож. Вблизи — крупный комбинат органического синтеза, вырабатывающий из каменного угля и газа бензин, каучук, пластмассы и др.” В этой справке есть холодающие душу слова: ”выделка кож”, ”газ”. Может быть, заводы со- оружены на базе прежних предприятий — крематориев, га- зовых камер, на которые мы смотрим сейчас. И как похожи на огонь и дым будущих химических заводов другой огонь, другой дым. На газовых камерах надпись: “Entlausung”, ”Во- шебойка”. Отверстия — с крышками — в потолке. Через них сыпали порошок, который выделял во влажном воздухе газ. Видна короткая толстая дымовая труба.

Бетонные столбы с двумя рядами колючей проволоки, с электрическими изоляторами. На них щиты с надписью: ”Труд делает свободным”. Шлагбаум. Четырехугольный ла- герь. Бараки. Блоки. Надпись на дверях блоклейтера: ”Один народ, одна страна, один вождь”.

Четыре часа утра. Из барака выгоняют на работу заклю- ченных. В шесть начнется утренний апелль, переключка, но, так как в каждом бараке не менее тысячи человек, то лю- дей выгоняют заранее, опыт показал, что на эту процедуру уходит два часа.

На плацу недвижно, прочно стоит унтершарфюрер То- мас Драбик, коренастый, крепкий, лет сорока. Большой хребтистый нос, большие уши, по которым Ломброзо оп- ределил бы врожденного преступника, длинное лицо, но при этом странно короткая, как бы бескостная нижняя челюсть. Драбик лыс, но, поскольку уже светает, можно понять, что он был рыжим — усики у него рыжие. Он в спортивной ру- башке и в шортах, кажется, бежевых, на нем меховой жи- лет: хотя лето, но в такую рань еще холодновато. В руке у него плетка. Драбик, чтобы согреться, немного выпил, на- строен добродушно. Он только наблюдает, а действуют за- ключенные, помощники блоклейтера. Это уголовники, у них зеленые знаки на полосатых куртках, зеленые ижицы. На куртках политических (среди них, кроме поляков, есть нем- цы) — красные ижицы. Если бы могли мы увидеть, как го-

нят из другого барака женщин, то разглядели бы и черные ижицы на рваных куртках проституток. У всех заключенных, даже у помощников блоклейтера, пятизначные номера, выжженные на руках. В строящейся колонне заключенных не сразу — так он изменился — узнаем Гулецкого. Рядом — Юзеф Помирчий. Впритирку к ним стоит человек, которого мы не знаем. Он попал в лагерь недавно. Его лицо, даже изможденное, примечательно тем, что ничем не примечательно.

Глаза Томаса Драбика внезапно утрачивают добродушное, влажное выражение, по его приказу один из помощников выгаликивает из колонны трех заключенных. Драбик подзывает их пальцем к себе. К нему подходят Гулецкий, Помирчий и Неизвестный. Они в чем-то провинились, они это знают, а еще лучше знает Драбик. Продолжая держать в руке плетку, он расстегивает меховой жилет, спускает шорты, обнажает зад и, слегка наклоняясь, подставляет его трем заключенным. Это не новая для лагерников мизансцена. Все трое, один за другим, целуют голую задницу унтершарфюрера. Драбик не смеется, он гордо озирает окрестность, смеются уголовники — помощники блоклейтера и охранники — эсэсовцы. Драбик удовлетворен, он ударяет всех троих, не сильно, плеткой по лицу. Провинившихся снова загоняют в колонну.

Один из эсэсовцев приближается к Драбику и о чем-то ему докладывает. О чем? Догадаться не так трудно, какое-то нарушение лагерного порядка. Возможно, кто-то из заключенных пытался бежать. Унтершарфюрер свирепеет. А ведь утро так хорошо начиналось! Драбик приказывает заключенным перестроиться. Между рядами следует образовать промежуток приблизительно в один метр. Всем заключенным присесть на корточки и прыгать. Прыгать, как прыгают лягушки, вставать и приседать нельзя.

Заключенные прыгают. Между рядами быстро движется Драбик, стегает плеткой тех, кто еще дышит, кричит: "Симулянты!" Некоторые теряют сознание. Драбик записывает их номера: если они так слабы, значит, не могут работать, их надо ликвидировать. Эсэсовцы рады развлечению: уж

этот Драбик! Драбик удовлетворен, прыжки прекращаются.

У ворот играет лагерный оркестр. Ритм, приблизительно, такой: "Кто там шагает правой?левой, левой!" Тех, кто сбивается, путает шаг, эсэсовцы выхватывают из рядов, чтобы потом расстрелять у кирпичной стены. Слева — здание, чьи окна обиты досками. По каменной кладке проложен сточный желоб, в который стекает кровь расстрелянных. Утренний апель, перекличка.

ГОЛОС ГУЛЕЦКОГО: Если я выживу, если выйду на волю, я зарезу Драбика. Это будет самый счастливый день в моей жизни. Даже если этот день будет для меня последним.

Картина четырнадцатая

Январь 1945 года. Железнодорожный узел Бельско-Бяла, недалеко от Освенцима. Части первого и четвертого украинских фронтов выбили немцев из Польши. Узники Освенцима освобождены: не всех успели уничтожить.

Гулецкий, Юзеф Помирчий и Неизвестный движутся по улицам Бельско-Бялы. Они ухитрились — такая удача — сменить каторжные, в синюю полоску, куртки на старые, потертые гимнастерки. Юзеф то и дело останавливается, жадно, беспомощно глотая морозный воздух. На улицах — наши военные, наши регулировщики, близко гудят поезда. Гулецкий не так обессилен, как Помирчий, а Неизвестный совсем молодцом. Юзеф Помирчий замирает, тяжело дышит ртом, в глазах его мольба, спутники понимают его, садятся на камни разрушенного дома, чтобы передохнуть.

ГУЛЕЦКИЙ (Неизвестному). Кто тебе сказал, что он в тюрьме?

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Сведения точные.

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ (*мы уже имеем представление о его ломаной речи, смеси разных языков, нет необходимости продолжать в том же духе*). За что его взяли?

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Есть поговорка: мой дом — моя Шлисельбургская крепость. Тюрьма — самое надежное убежище. Драбик до войны был полицейским, приобрел опыт. Он сумел доказать, что мать у него немка, значит, он наполовину фольксдойче, вот и устроился в Освенциме, выдвинулся, стал унтершарфюрером. А теперь укрылся в тюрьме от возмездия: не дурак. При всеобщей панике удрал из кацета, ограбил в городе лавку, прием известный. Наши его посадили, как простого уголовника. А он того и ждал. Отдохнет с полгодика, выйдет на волю, поглубже зароемся. Или наших обманет, служить нам начнет.

ГУЛЕЦКИЙ. Ты сам до этого дошел или...

НЕИЗВЕСТНЫЙ. В каждой строчке только точки.

ГУЛЕЦКИЙ (*задумчиво*). Догадайся, мол, сама.

Он догадывается, но не все еще ему ясно. Все трое поднимаются, идут по разрушенному городу, пересекают рельсы, подходят к красно-серому трехэтажному зданию, с грозной необходимостью уцелевшему во время бомбежки. Это тюрьма. Неизвестный ускоряет шаги, дело для него нетрудное, истощенные его спутники за ним не поспевают. Он что-то показывает часовому, и когда Гулецкий и Юзеф Помирчий приближаются, они слышат, как тот уважительно говорит "Пшепрашам" и пропускает всех троих в тюрьму.

Картина пятнадцатая

Провинциальная польская тюрьма. Она почти пуста, потому что репрессии начнутся, когда утвердится новая власть, а пока все подчинено нашему коменданту города, пока еще советская армия равнодушна к жителям, по крайней мере, так им кажется.

Одиночная камера. Она не больше, чем купе вагона. Под самым потолком, конусообразным, достаточно высоким —

зарешеченное оконце. На полу — грязный, в отвратительных пятнах матрац. В углу параша. Когда в камеру впускают троих, с табуретки поднимается Томас Драбик. Он сбрил усики, одет так же, как прежние его помощники-уголовники, на куртке зеленые углы.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Ты что, Драбик, забыл? Утренний апелль, пора на перекличку.

Драбик в ужасе прячет нижнюю губу под верхней, его подбородок еще больше уменьшается, а хребтистый нос увеличивается. Юзеф Помирчий неожиданно находит в себе силу поднять табуретку и неистово, выкрикивая страшные, полузабытые, древние еврейские проклятия, бьет Драбика по голове. Драбик падает головой на матрац, заливая его кровью, на Драбика, в холодном поту, валится Юзеф Помирчий. По цементному полу растекаются темные прерывистые струйки. Гулецкий и Неизвестный приподнимают Юзефа, усаживают его на табуретку. Юзеф, закрыв глаза, хрипло и редко дышит, словно бы тихо свистит. Гулецкий толкает ногой Драбика. Унтершарфюрер мертв.

ГУЛЕЦКИЙ. Самый счастливый день моей жизни.

Три узника Освенцима выходят из камеры. Часовой от них отворачивается, но Неизвестный приказывает: "Тютюн". Часовой вытаскивает из кармана пачку сигарет. Неизвестный вытаскивает из пачки одну сигарету, дает ее часовому, а пачку отбирает.

Картина шестнадцатая

Уселись на ступеньке чугунной лестницы, которая никуда не ведет дом разрушен. Неизвестный и Гулецкий курят. Пытался закурить и Юзеф, но задохнулся. Однако польскую сигарету не выбрасывает, зажал между двумя пальцами.

Мелко сыплется снежок. Вдали различается мост. До вечера еще далеко, но кое-где в окнах уже зажегся свет керосиновых ламп.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Вы сейчас пойдете к коменданту. Можно не торопиться, поспеете, торопиться Юзефу трудно. Вас устроят, накормят, направят по месту службы. А у меня тут свои дела, мне-то надо торопиться.

ГУЛЕЦКИЙ. Ты кто?

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Бояться вам нечего. Это не был само-суд. Священная месть. Исполнили патриотический долг. Теперь вы спокойно можете продолжать службу в своей польской дивизии.

ГУЛЕЦКИЙ. Ты кто?

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Заладил. Ты что думаешь, раз прошел через Освенцим, так уже святой? Доказать свою преданность родине нужно. Вот и я засвидетельствую, где надо, что вы оба вели себя как честные советские воины, на немецкие провокации не поддавались. А то, что приходилось Драбику задницу целовать, сотрите из памяти. Плюнуть и забыть. Да и Драбика уже нет, ничего нет, Освенцима нет.

ГУЛЕЦКИЙ. Так и ты же целовал.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Я не вы. Вам без меня не жить, а вам надо жить. Я делал в Освенциме то, что мне было поручено.

ГУЛЕЦКИЙ (*спрашивает риторически, без удивления*). Неужели и в Освенцим засылают ваших, чтобы следили за нами? Как до войны? Но ведь ты мог погибнуть. Чем-нибудь рассердил унтершарфюрера — и вот с евреями в баню, в газ.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Значит, понял? Вам без меня нет жизни. Теперь пойду, разыщу своих. (*Растроган.*) Может, еще свидимся когда-нибудь.

Обнимаются, целуются. Неизвестный делает несколько шагов вперед, оборачивается, сжимает, улыбаясь, руку в кулак, говорит: "Рот фронт" и исчезает, осыпанный снегом, за поворотом, исчезает навсегда.

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Когда я учился в гимназии в Литцманштадте, сын нашего соседа, ешиботник, старался мне растолковать одно выражение из Каббалы, но, как ни трудился, бедняга, я ничего не мог понять. И сейчас ничего не понимаю. Кто он?

ГУЛЕЦКИЙ. Нас понять трудно. Потому-то бьем нем-

цев. Они до Кавказа дошли, а мы их бьем. Вот и пойми нас. А тебе я советую: к коменданту не ходи, топай до своего Литцманштадта.

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Все время ты был со мной как брат. Ближе брата. Я без тебя пропал бы. Почему же теперь, когда мы на воле, ты меня бросаешь?

ГУЛЕЦКИЙ. У нас разные дороги. Ты дома, тебе не обязательно воевать. Начнешь жизнь сначала. Не знаю, во что превратится Польша, но уверен, что в Польше будет лучше, чем у нас. Так плохо, как у нас, не бывает нигде.

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Тогда и ты оставайся в Польше. Вместе нам будет легче.

ГУЛЕЦКИЙ. Нельзя. Мне нельзя. У меня только два выхода: либо смерть на войне, либо жизнь в России. А уж какая сложится жизнь — посмотрим.

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Не могу тебя понять.

ГУЛЕЦКИЙ. Я уже говорил тебе, что потому-то мы и сильны, что нас трудно понять. Вот, даже в Освенцим забросили гепеушника, чтобы в немецком лагере смерти следил за нами. А ведь мог погибнуть, как и мы с тобой. Уходи, Юзеф, тебе есть куда уйти, а я пойду к коменданту, может, прежде чем допрашивать, сперва накормит. И еще тебе советую: ты и в Польше не оставайся, она будет наша.

Обнимаются, целуются. Гулецкий уходит. Юзеф Помирчий смотрит ему вслед, но слезы помешали Юзефу, и он не увидел, как тот, кто был ему ближе брата, скрылся за поворотом.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Картина семнадцатая

Конец 1944 года. Гимназия. Когда-то ею гордилась эта ныне замурованная окраина. Мир открывался удачливым,

способным детям бедняков сквозь стены гимназии. Сейчас туда направляются взрослые.

Войдем и мы. Двери в классы распахнуты. В одном из них стоит учебное пособие — скелет. Сегодня воскресенье. В переполненном зале — самодеятельный концерт, устроенный отделом культуры Юденрата для трудящихся. Симфонический оркестр играет Девятую симфонию Бетховена. На подмостках сбоку сидит небольшого роста человек, выражение лица которого меняется с клоунской быстротой. Он одновременно и улыбается, и готовится заплакать. На оркестрантов и хор он смотрит одобрительно, даже очарованно, но тоскливо; на первый ряд зала, где сидят члены Юденрата, — с пугливой, заискивающей улыбкой. Он член Юденрата, он ведает отделом культуры, бывший репортер бывшей городской польской газеты Цезарь Козловский.

Исполнение четвертой части симфонии сопровождается пением, хор поет оду Шиллера "К радости":

Обнимитесь, миллионы!
Слейтесь в радости одной!
Там, над звездною страной, —
Бог, в любовь пресуществленный!

Музыканты и певцы, юноши и девушки, живут сейчас двойной жизнью. Они и здесь, в геттовской гимназии, где в одном из классов стоит учебное пособие, напоминающее им об их близкой участи, они здесь, в гетто, но они и там, в надзвездной стране, где обитает их Отец, пресуществленный в Любовь, то есть в жизнь. Там, в надзвездной стране музыки, — их души, их человеческая суть, а здесь только глина, одетая в рвань, к которой крепко пришиты углы их желтых звезд, спереди и сзади. Такие же звезды на одежде зрителей, и даже на черном сюртуке председателя Юденрата мы скоро увидим желтую звезду.

Оду Шиллера спели по-немецки, затем исполнили песню на древнееврейском языке. Концерт окончен, исполнители спускаются с подмостков и занимают места в зале. Они зна-

ют, что сейчас должен произнести речь председатель Юденрата Генрих Чаковер. Это ему предназначалась пугливая, заискивающая улыбка Цезаря Козловского.

Председателю Юденрата за пятьдесят, росту он скорее высокого, это не сразу определишь, потому что во время своей речи он весь извивается. Если, по Дарвину, человек — вертикально бытующая обезьяна, то Чаковер — вертикально бытующая змея. Но у змеи — прекрасное, изящное жало, а у Чаковера — перекошенный узкогубый рот. Зато глаза у него, как у змеи, они не открывают, а утаивают его мысли, и только на краткое мгновение начинают колко светиться из-за стекол больших круглых очков. Чаковер еще недавно был сравнительно богатым жителем, владельцем аптеки в верхней, аристократической части города.

ЧАКОВЕР (*говорит по-польски, шепелявит*). Концерт удался. Люди отлично потрудились, получили право на культурный, полноценный отдых. Наш народ всегда знал, что труд есть признак человеческого благородства, но раньше мы работали, чтобы жить, а теперь живем, чтобы работать. Мы работаем на немцев, и только от них зависит наша жизнь. Нас обрекают на полуголод, мы истощены, но мы должны работать, иного выхода у нас нет. Немцы нуждаются в нашей работе, и если мы будем честно трудиться, то выживем. Только не надо вольнодумничать, с глупой доверчивостью выслушивать всякие бредни. В конце концов, когда немцы говорят о своей ненависти к евреям, они имеют в виду не нас, прилежных тружеников, а банкиров-толстосумов Ротшильдов или анархистов вроде Карла Маркса, который отрекся от веры отцов, крестился. Мы древний, многострадальный народ, но мы выжили, потому что верили в Бога и не вступали в спор с сильными мира сего.

Чаковера прерывает крик: "Хазак в'амботц!" "Будь сильным и храбрым!" Это из зала кричит Мешилейб, городской сумасшедший. В гетто, как в нормальном городе, есть свой сумасшедший.

ЧАКОВЕР (*не сердится, продолжает*). У нас замечатель-

ная молодежь. Какой чудесный концерт мы сейчас услышали. А ведь юноши и девушки пели и музицировали после изнурительной трудовой недели, да еще впроголодь. И какой позор, какое оскорбление для такой молодежи то, что среди нас ходят молодые паразиты, отщепенцы. Их немного, жалкая кучка, но они есть, и мы отыщем и накажем этих мамзеров, которые, таясь от света Божьего, смущают людей коммунистическими или сионистическими речами, разницы, в сущности, нет, сионизм тот же коммунизм, но под голубой звездой. Я приказал разбить бригады, работающие в городе, на пятерки, в каждой пятерке выделить ответственного. Мы должны быть бдительны. Кстати, только что спели песню "Обнимитесь, миллионы". Конечно, устроители и участники концерта сделали это без злого умысла, но представьте себе, что в зале сидит, а это не такой уж редкий случай, уполномоченный гестапо господин Франц Оксенгафт. Понравилось ли бы ему, что мы призываем миллионы обняться, объединиться, слиться. Может быть, немцам слиться с нами? Интернационал, что ли? Впредь следует быть осторожней при выборе песен.

ЦЕЗАРЬ КОЗЛОВСКИЙ (*визжит*). Это сделано без моего разрешения! Их подучил Вольф Беньяш!

Охваченный безумным страхом, Цезарь Козловский забывает, что Вольф – сын инженера Натана Беньяша, влиятельного члена Юденрата.

ЧАКОВЕР. Успокойся, Цезарь, никто тебя не обвиняет, беда не велика, но, повторяю, впредь надо быть бдительным.

Чаковера опять прерывает крик, на этот раз кричит не Мешилейб, многогласно кричат: "Пожар!" Все выбегают из актового зала, со всеми и члены Юденрата во главе с Генрихом Чаковером. Отталкивая других, спешит к выходу Абрам Зивс, шеф геттовской полиции, заместитель председателя Юденрата.

Картина восемнадцатая

Улица, криво бегущая вверх, к другой искривленной

улице. Высоко, темно-серо стоит хасидская синагога, несчастный храм веселых бедняков. Когда-то здесь пелись изумительные песни, и люди самозабвенно плясали по праздникам не только во дворе, но и в самом здании синагоги... "Хватит плакать и ныть, — утверждали эти веселые бедняки, — мир есть радость. Подобно тому, как складка в платье сделана из самого платья и в нем остается, так и мир — из Бога и в Боге. Будем же веселиться во славу Бога".

Пылает огромный костер. Поодаль — немецкие мотоциклы. Несколько гестаповцев, возглавляемые Францем Оксенгафтом, окружили цадика и с десятков стариков. Оксенгафт обвешан гранатами и пистолетами. Цадик и миряне голые, на них только ермолки. На земле валяются их черные лапсердаки и белые карпетки. Люди почти бестелесны, и кажется, что бородатые духи пляшут вокруг костра. По приказу гестаповцев эти пляшущие духи бросают в огонь молитвенники и при этом поют "Катюшу" на смеси польского и русского. Один из мотоциклистов, сосредоточившись, палит головней и выщипывает стариковские бороды. Его со товарищи смотрят на забавное действо, тоже сосредоточившись, без смеха.

Генрих Чаковер смело приближается к Францу Оксенгафту. Уполномоченный гестапо при первом взгляде на него очень похож на человека. Склонный к полноте, круглолицый сорокалетний мужчина с усталыми глазами.

ЧАКОВЕР *(по-немецки)*. Осмелюсь спросить, господин уполномоченный, что произошло?

ОКСЕНГАФТ *(не повышая голоса)*. Ваш вонючий цадик собрал ваших вонючих стариков и в своей вонючей проповеди сравнил немецкий рейх с големом, чудовищем из глины: мол, рассыплется рейх, как глина.

ЧАКОВЕР. Прошу меня простить: что за чушь! Разве старые люди, смиренно ожидающие своей смерти, способны пойти на такое преступление? Чья это выдумка?

ОКСЕНГАФТ. Не выдумка. Меня не обманешь. Мне об этом сообщил еврей, более достойный, чем вы, занять пост

председателя Юденрата. Между прочим, он знает язык своего стада, а вы с еврейчиками говорите по-польски, не все вас понимают. Вы не умеете, Чаковер, как следует исполнять свои обязанности.

ЧАКОВЕР. Абрам Зивс? Он дурак. У него под носом в гетто проникает оружие, есть опасность, что незрелые, горячие головы замышляют гнусные акции, а он, шеф полиции, занимается глупой болтовней, клеветает на старых, благонамеренных людей. Моя цель — найти и, с вашей помощью, ликвидировать преступников, а этот костер, это издевательство над почтенным цадиком, вредят нашему делу.

ОКСЕНГАФТ. Наше дело? У нас с вами нет общего дела. Ваше дело — работать на солдат вермахта и не роптать. Меня не интересуют ваши, как вы выражаетесь, незрелые и горячие головы. А если что-нибудь произойдет, то я для начала прикажу уничтожить половину населения гетто, и вы, Чаковер, будете среди уничтоженных.

Оксенгафт и его гестаповцы садятся на мотоциклы и направляются к воротам. Слышен крик: "Вихрь истребительный — бич господень!" Это кричит Мешилейб.

Картина девятнадцатая

Двухкомнатная квартира в гетто. Вход в кухню. На кухне устроилась семья Яхецов, состоящая из пяти человек, но один из Яхецов, ешиботник Иче, восемнадцати лет, спит в первой комнате. Там же разместились семья Пергаментов — отец, мать, сын Лео, бывший студент, и дочь — двенадцатилетняя девочка, а за занавеской — Жюль Розенблюм, из Антверпена, еще недавно, кажется, вчера — молодой архитектор. Спят на столах, на полу. В следующей комнате живет семья Королей — отец Моисей, мать Розалия и дочь Мария.

Столетиями евреи обитали в городе католического славянства. Как во всяком своеобразном городе (собственно говоря, в этом и состоит своеобразие города) здания, улицы, деревья были здесь прочно соединены таинственной, живой

связью с разноязыкими горожанами. Таинственную, чудесную эту связь можно уничтожить, но для этого потребны десятилетия, иногда — века. И до сих пор, когда люди в сопровождении колоненфюрера отправляются на работу в город, а ветер шумит в сучьях деревьев, им чудится, будто слышат не только польскую, не только немецкую, но и еврейскую речь.

Немцы решили уничтожить естественную связь города с евреями быстро и основательно. Памятники готики и барокко оцепили колючей проволокой. Узкие, кривые улочки окраины замуровали кирпичом, заколотили досками. Даже вход со стороны города в костел заколотили досками, забили заднюю калитку, и в костеле пустота. Вот и образовалось гетто, куда согнаны все оставшиеся в живых евреи, зажиточные и бедные, почтенные семейства и плебс. Впрочем, самые бедные жили здесь и раньше, например, Короли, которым принадлежала вся эта двухкомнатная квартира. Есть несколько десятков западных евреев, им хуже всего, они здесь всем чужие, не привыкли к восточной нищете.

Выход из гетто — только через старинные ворота, еще недавно — ненужные городу свидетели славянского средневековья. На воротах — немецкая надпись: "Внимание! Еврейский квартал. Опасность заражения. Посторонним вход запрещен". Так как город до первой мировой войны принадлежал Австрии, то немецкий язык здесь не забыт.

Гетто — республика обреченных. Под тяжелым мечом гестапо, выкованным полуторатысячелетней немецкой обиденной завистью к Риму и миру, эта гибнущая республика существует почти три года, чтобы перестать существовать. Она управляется трепещущим Юденратом — еврейским советом. Члены Юденрата назначены уполномоченным гестапо из числа состоятельных или уважаемых евреев. Исключение — Цезарь Козловский, но он — креатура Чаковера. У Юденрата есть отделы: питания, квартирный, культурный, похоронный. Последний представляет собой черный катафалк с дохой клячей. Система гетто, как это ни странно, повторяет систему третьего рейха. У немцев нет фантазии.

Уполномоченному гестапо непосредственно подчиняется

арбайтсамт – управление труда. Здесь, при участии членов Юденрата, распределяют на работу в мастерских – слесарных, сапожных, швейных, вязальных, часовых. Мастерские обслуживают немцев. Здесь же комплектуются бригады для работы на стройках в городе, за воротами гетто. Работающим выдают желтые карточки, они несколько лучше синих и розовых, которые получают женщины, если не работают, дети и глубокие старики. Вот почему все хотят работать. Больные притворяются здоровыми, чтобы иметь желтую карточку. Самые умелые ремесленники получают фахарбайтер аусвайс. На этих удостоверениях, тоже желтого цвета, печать: шестиконечная звезда и немецкие буквы: "Полицейская комендатура". Такие же аусвайсы, по которым полагается повышенная норма питания, выдаются членам Юденрата и геттовским полицейским.

Работа на стройках в городе, хотя и нелегкая, весьма ценится. Во-первых, ежедневно двенадцать часов перестаешь дышать воздухом гетто, воздухом умирания, во-вторых, иной сердобольный поляк или даже немец даст тебе кусок хлеба, узнаешь военные сводки, в их лживом тексте ищешь тень надежды. Когда строители возвращаются в гетто, их тщательно обыскивают. Если у кого-нибудь находят хлеб, припрятанный для мамы или для детей, нарушителя уводят на кладбище и расстреливают. Это делают полицейские. Еврей-полицейские.

В гетто есть больница, библиотека, парикмахерская, лавки, где по карточкам продают продукты (очереди длинные, продуктов не хватает на всех), два интерната для сирот, две школы. Есть и гимназия, но она полупуста, потому что старшеклассники работают в мастерских. В гимназии училась и Мария, пока не устроилась в швейной мастерской. Но она хочет сдать экзамены экстерном.

В комнате Королей сейчас Мария, решающая задачу по алгебре, и зашедший к ней Вольф Беньяш, бывший студент политехникума. Ему двадцать один год, он высок и кудряв. Он работает в городе, вне гетто, на строительстве военного объекта. Туда устроил его отец, когда-то известный в городе

инженер Натан Беньяш. Вольф смотрит в окно, видит потемневшую от времени и замолкшую от горя хасидскую синагогу.

ГОЛОС ВОЛЬФА. Какая она худенькая. Она шьет бюстгальтеры для немок, а ей самой бюстгальтер не нужен. Если мы поженимся, то не сможем иметь детей, еврейкам запрещают рожать, а беременных расстреливают. Ходят слухи, что Красная Армия приближается к Польше, значит, приближается конец гетто. Мы здесь почти три года, мне хочется написать историю нашего гетто, но, как только я сажусь за стол, меня охватывает апатия, переходящая в отчаяние. С чего начать? С того ли дня, когда немцы захватили город, увели в лес сто тысяч человек и расстреляли их? С того ли дня, когда гебитскомиссариат наложил на нас контрибуцию — пять миллионов, внести до девяти часов следующего утра, иначе все будут убиты. Собрали только половину суммы. И началось убийство. Посреди города людям приказали выкопать себе ямы. Долго еще из земли торчали головы, руки, ноги, залитые негашеной известью.

Если я обо всем этом напишу и мои записки дойдут до послевоенного мира, кому они будут интересны? Оставшимся в живых евреям? Но останутся ли евреи, чтобы жить?

МАРИЯ *(не отрываясь от учебника)*. О чем ты думаешь?
ВОЛЬФ. О евреях.

МАРИЯ. Две тысячи лет думают о евреях такие умники, как ты.

У нее крутой лоб, удивительно ясные и счастливые, как будто не знающие, что на земле есть зло и ложь, глаза, голова стриженная, немцы приказали всем евреям остричься и сдать волосы, — она похожа на худенького школьника, она прекрасна.

ВОЛЬФ. Кто-то из греков сказал, что безусые юнцы — самые мудрые философы. Особенно, если они живут в гетто, добавлю я. Старый, надоевший вопрос: почему нас ненавидят? Объясняют это тем, что нас мало в неисчислимом христианском либо мусульманском мире, что среди нас поч-

ти нет земледельцев и воинов, а есть ростовщики, мы трусливы, жадны и брезгливы. Дело не так просто, Мария, не так просто. Нам завидуют.

МАРИЯ. Нам, презренным жидочкам? Нам, которые умирают в гетто? Ты еще скажешь, что немцы нам завидуют?

ВОЛЬФ. Немецкий разум нам завидует, Мария. Мы, бесправные, мы нищие, мы крохотное племя, дали христианам — и тем же немцам — и мусульманам Бога, идею Бога, не греческую бабочку — Психею, а душу, разумение ее бессмертия и ничтожества смертной плоти. От нашего завета произошли Евангелие и Коран. Люди во всем мире, белокурые бестии и смуглые азиаты, носят наши, ими на свой лад искаженные имена. Казалось бы, нас надо благодарно почитать, нас, первыми познавшими Бога. Но обидно, оскорбительно почитать нищих, униженных, зависимых. Либо надо утвердить наше духовное первородство, либо нас убить. И нас убивают. Но в обществе родилась благодетельная сила, спасавшая нас: демократия. Уничтожение льгот и привилегий дворянства, победа третьего сословия — вот в чем было наше спасение. Евреи-большевики, сами того не зная, обрекли на гибель свой народ, потому что большевистское государство есть государство докромвелевское, доробеспьеровское, государство льгот и привилегий. А для евреев свобода — живая вода. Но оказалось, что в сладком и пьянящем напитке свободы есть отрава. Два века демократия властвует в Европе, торжествует в Америке, и два века она вызывает ненависть к себе и гнев, и не только у черни, но и у людей, чей дух высок. Не потому ли так получилось, что демократия развивалась все эти годы без Бога, против Бога? Достоевский вынужден был признать, что нет еврея, нет еврейства без Бога. Так, может быть, мы его соратники в отвержении безбожной демократии? Нет, он отвергал и нас: пусть они молятся своему Иегове! Своему? Разве Иегова — не Бог Достоевского? Разве Иешуа не назвал себя сыном этого самого Иеговы? Разве не учил он людей в религиозных школах — в синагогах? Разве не был обрезан во исполнение договора с Иеговой? Разве не от нас ведут свою родословную

христиане и мусульмане? Достоевский, гениальный ум, не хотел или испугался домыслить до конца. Чтобы отсечь еврейство от человечества, надо отвергнуть Христа. Домыслил не гений, домыслил антихрист.

МАРИЯ. Кто?

ВОЛЬФ. Гитлер. Те, кто веруют в Христа, не могут питать ненависть к евреям. Для того, чтобы уничтожить евреев, надо либо вернуться к язычеству, либо узаконить безбожие.

МАРИЯ. Ты сионист?

ВОЛЬФ. Нет. Я задумывающийся европеец. Но сейчас мне в голову пришла не европейская, а древнеазиатская мысль. С точки зрения индуистской философии мир, в котором мы якобы живем, в действительности не существует, он иллюзорен, а настоящий, существующий мир — в слиянии с Абсолютом, которого мы достигаем, отказавшись от призрачных забот и тревог иллюзорного мира. Не все ли равно, кто убит и кто убийца, и тот и другой — воображение, майя.

МАРИЯ. Чепуха.

ВОЛЬФ. Чепуха, если оставаться в пределах иудео-христианского миропонимания. Но есть и другое.

МАРИЯ. Мы живем в страхе, в грязи, в голоде, мы погибаем, а ты спокойно рассуждаешь о какой-то майе. В этом наше бессилье.

ВОЛЬФ. В этом наша сила. В мысли.

МАРИЯ. Сколько веков можно в своих лапсердаках погружаться в Каббалу, в Талмуд, спорить о мистическом значении буквы или слова? А ты еще прибавляешь к этому индийские сказки. Уж если тебе хочется, мой задумывающийся европеец, мудрствовать, когда мы гибнем, то пораскинь мозгами, объясни, почему Германия, страна поэзии, музыки, философии, стала страной убийц.

ВОЛЬФ. Вот тебе и еще кое-что из индийских сказок. Кауравы и пандавы, две ветви одного рода, ведут смертельную войну. Пандав Арджуна спрашивает у своего колесничего: "Вправе ли я воевать против близких, сородичей, участвовать в битве, где отцы убивают дедов, сыновья — отцов, братья — братьев?" И колесничий, который в действитель-

ности есть земное воплощение бога Вишну, отвечает: "Равно неразумны и убийцы, и те, кого убивают. Их нет. Их тела преходящи. Жив только Дух, Высший Атман, для которого нет ни рождения, ни смерти".

МАРИЯ. Выходит, что мы, которых нет, должны радостно покориться убийцам, которых тоже нет? И Чаковера, и Зивса с его полицейскими нет? И нет наших слез? Нет наших великих слез великого горя? Иче Яхец проще тебя, и поэтому умнее. Он мне сказал: "Мы сумасшедший народ. Мы себя осознаем, когда нас начинают убивать. Гетто не только наша могила, гетто может стать нашим новым рождением. Мы должны убивать убийц".

ВОЛЬФ. Он невежественный ешиботник. Сионист. А что нам Палестина, дикий турецкий вилайет, английская колония, пустыня, по которой кочуют бедуины? Наша опора, наша родина — европейская демократия. Битва наших предков с филистимлянами была битвой равных, битвой демократов с рабами, битвой познавших Бога — с язычниками. Мы должны продолжить эту битву демократов с идолопоклонниками — рабами Гитлера.

МАРИЯ. Иче хочет создать в гетто партизанский отряд.

ВОЛЬФ. Ходят слухи, что у нас уже есть партизанский отряд. Коммунисты. Ох, Мария, что-то мне не нравятся коммунисты.

МАРИЯ. А я тебе нравлюсь? Поцелуй меня.

Вольф берет ее на руки. Его курчавая голова склоняется над стриженной. Между ними кружится зимняя муха.

ВОЛЬФ. Неужели эта муха нас переживет?

Картина двадцатая

Уютная квартира Генриха Чаковера. В ней три комнаты и большая кухня. Все окна выходят в город, поэтому они замурованы кирпичом. С утра зажигаются керосиновые лампы. Рейх одного лишь Чаковера снабжает керосином. Другим жителям гетто керосина не полагается. Только в одном

окне, тоже замурованном, можно открыть форточку. Это окно в той комнате, которая сейчас перед нами.

Величина и обстановка квартиры, столь скромные в обычные времена, поражает того, кто видел, в какой тесноте, скученности и грязи живут обитатели гетто. На стенах — портреты: бородатый мужчина в ермолке и женщина в черном платке. Это родители Чаковера, они были расстреляны в числе ста тысяч, когда немцы ворвались в город. На стене висит и пистолет в кобуре: личное оружие председателя Юденрата. За широким обеденным столом, накрытым бархатной скатертью фабричной выделки, беседуют Чаковер и Цезарь Козловский.

ЧАКОВЕР. Откуда ты взял, что Вольф Беньяш подучил хор исполнить оду "К радости"?"

КОЗЛОВСКИЙ (*счастлив, что может не врать*). Есть такая девушка, Мария Король...

ЧАКОВЕР. Из той семьи, которая жила в этом районе, когда здесь еще не было гетто?

КОЗЛОВСКИЙ. Вы гигант, Генрих. Вам все известно. Мария знает немецкий, она переписала и принесла текст песни для разучивания. Она сказала, что песню выбрал Вольф Беньяш, он-то и дал ей томик Шиллера.

ЧАКОВЕР. Ты сам слышал?

КОЗЛОВСКИЙ. Собственными ушами.

ЧАКОВЕР. Натан Беньяш строит в городе военный объект. У Беньяша большие связи в гебитскомиссариате. Он не зависит от Оксенгафта, а тем более от меня. Он не даст в обиду своего сыночка.

КОЗЛОВСКИЙ (*с истерическим отчаянием*). Он мне отомстит! Что мне делать?

ЧАКОВЕР. А что мне делать? В гетто есть опасные молокососы. Я чувствую их ненависть. Они способны на все. Они могут организовать, если уже не организовали, подпольный комитет. Им наплевать, что из-за них погибнут тысячи людей. Они свяжутся с партизанами. Мне непременно надо их раскрыть, договориться с Оксенгафтом, чтобы их депортировали или тихо расстреляли, пока в это не вмешался Абрам

Зивс. Тупой мясник не считается с тем, что разъяренные гестаповцы, из-за кучки отщепенцев, могут истребить всех нас. Тут нужен ум, а у Зивса вместо ума — топор. Подойдем к окну, откроем форточку, подышем немного.

Открывает форточку. В комнату врывается вечерний зимний воздух и свет звездочки, небесной, не желтой. В квартире Чаковера есть еще одно место, через которое может пройти свежий воздух, но никто в гетто, кроме хозяев квартиры, об этом не знает. Знает уполномоченный гестапо.

КОЗЛОВСКИЙ. Есть один неплохой парнишка, Иче Яхец, я помог ему устроиться в швейной мастерской. Я видел, как он беседовал с Вольфом Беньяшем. Не поговорить ли мне с ним по душам?

ЧАКОВЕР. Этот ешиботник с прыщавым лицом и грязными пейсами?

КОЗЛОВСКИЙ. Вы гигант, Генрих.

Топот ног, шум голосов. В комнату входят еще три члена Юденрата: с пистолетом на боку шеф геттовской полиции Абрам Зивс, инженер Натан Беньяш, доктор Самуил Орбант.

Заседание Юденрата. Первым говорит Самуил Орбант. Он ровесник Чаковера. До войны он был очень толст, одежду носит прежнюю, он тонет в пиджаке и в брюках. Он лечил еврейскую бедноту, все знали его бричку с высоким верхом, его вызывали к больному, но не все платили, а иным он давал деньги на лекарство. Он был противником медицинских новшеств, его излюбленным методом лечения от всех болезней были холодные компрессы на голову и горячие ножные ванны. Теперь ему подчинены отдел питания и, разумеется, больница.

ОРБАНТ. Сумасшедшая жизнь! Где это было видано, чтобы лучше всех жили трубочисты?

ЧАКОВЕР (*криво улыбаясь*). В городе не хватает трубочистов, немцы берут людей из гетто — чистить дымоходы, хозяйки их сытно кормят. Это надо ценить, не все немцы — враги евреев. Вообще мы должны среди жителей гетто вести борьбу с местечковым национализмом, с расовыми предрассудками, особенно среди молодежи.

ОРБАНТ. Я получил указание гебитскомиссариата.

ЧАКОВЕР. Знаю.

ОРБАНТ. Уменьшается норма питания — даже для тех, кому выданы фахарбайтер аусвайсы. Мы будем получать на человека 125 граммов хлеба в день. А в неделю: 20 граммов черного гороха вместо крупы, 30 граммов соли. Сахару и подсолнечного масла теперь получать не будем, только для тех, кто лежит в больнице — 50 граммов сахару и 50 граммов масла в неделю. А по синим карточкам — 125 граммов хлеба в день и все.

КОЗЛОВСКИЙ *(забывшись, почти плача)*. Сволочи немцы. Мой Яша умрет с голоду.

ОРБАНТ. Для членов Юденрата остаются прежние нормы.

ЧАКОВЕР. Немцы в Германии тоже подтянули животы. Их надо понять.

АБРАМ ЗИВС *(он был владельцем мясной лавки, он знает, что есть кровь и мясо, голова, огузок, печень, а душа — пустой сон. Зивс презирует интеллигентов, Чаковера и Беньяша, только Орбант для него авторитет, в этом сказывается давнее уважение простых евреев к врачам)*. Наши паршивцы хуже собак, и куска кишки не заслуживают. Вот в городе поймали немецкого солдата, который за бутылку шнапса продал еврею автомат. Расстреляли и солдата и еврея. Теперь пусть образованные господа мне скажут, для чего в гетто автомат?

ЧАКОВЕР. Выяснили, кто этот еврей?

ЗИВС. У мерзавца нашли аусвайс на имя Жюля Розенблюма.

ЧАКОВЕР. Этого? Из Антверпена?

НАТАН БЕНЬЯШ. Вздор. Вчера я привел назад всех, работающих на строительстве, и среди них был Жюль. Он хороший специалист.

Натан Беньяш, крупный инженер, учился вместе с одним из фольксдойче, ныне начальником строительства, и тот доверил сокурснику по высшей технической школе и его бригаде сооружение военного объекта, крайне нужного отступа-

ющей немецкой армии. У Натана Беньяша постоянный пропуск в город.

Цезарь Козловский, услышав, что бригада Натана Беньяша находится под подозрением, осмелел. В голосе его зазвучала трусливая уверенность наглеца.

КОЗЛОВСКИЙ. Евреи из Западной Европы — не наши евреи. Они нам чужие. Недаром в гетто большинство их было ликвидировано в первую очередь. Не нам хвалить немцев, но у них есть нюх. Этот Жюль Розенблум смотрит на нас свысока, он давно мне противен. Если вы говорите, господин Беньяш, что Жюль Розенблум жив, значит, он передал свой аусвайс одному из рабочих вашей бригады. Вы не всех привели назад, один из ваших расстрелян, проверьте еще раз, господин Беньяш.

НАТАН БЕНЬЯШ. Вы мне надоели, Козловский. То вы клеветаете на моего сына, то на моего рабочего. Если так пойдет дальше, я буду вынужден сообщить в гебитскомиссариат, что вы мне мешаете выполнять поручение немецкой армии. *(К Чаковеру.)* Почему вы нам навязали этого болвана и истерика? Козловскому не место в Юденрате. Мы, члены еврейского совета, как велит наша народная общинная традиция, должны служить примером для всех. В этом смысле, вы, Чаковер, далеко не безупречны.

КОЗЛОВСКИЙ *(визжит, потом плачет)*. Вы меня не так поняли, господин Беньяш. Я вас очень уважаю, мы гордимся вами. Вспомните, до войны я напечатал в газете репортаж о вас.

ЧАКОВЕР. Господин Беньяш, говорите прямо, какие у вас ко мне претензии? Моя душа чиста перед людьми.

НАТАН БЕНЬЯШ. Мне не нравится ваша близость к гестаповцу Оксенгафту. И не только мне.

ЧАКОВЕР. Я вынужден...

В комнату входит молодая женщина. В руках у нее овальное рыбное блюдо. На блюде — мелко нарезанная селедка и кружочки лука, облитые подсолнечным маслом, тем самым, которое не будут получать даже наиболее умелые ремесленники.

ЧАКОВЕР (*умиленно*). Смотрите на нее, смотрите, какая у меня красавица. Разве мог я ожидать, старый холостяк, провинциальный аптекарь, что моею женою станет дочь дирижера венской оперы, знаменитого Бельфора, что она родит мне двух девочек с прелестными ротиками, а у меня-то, старика, рот перекошенный. Вот какую радость принесло мне гетто.

Посмотрим и мы на молоденькую жену Чаковера. Это Ева, которую мы уже видели в Мюнхене в качестве жены Юзефа Помирчия.

ЕВА. Подкрепитесь, господа. Сейчас принесу хлеб.

Картина двадцать первая

Со дня заседания Юденрата прошел месяц, но все еще зима, западная зима. Ночь. Кладбище за воротами гетто. Когда-то здесь хоронили бедняков, за счет общины. Хоронят и в эту ночь. Люди, взявшись за руки, молча кружатся вокруг свежей могилы. Таков старинный хасидский обычай. Может быть, смысл обычая в том, чтобы отогнать от покойника нечистую силу? Но ведь всем городом владеет нечистая сила, как ее отгонишь?

Следуя за черным катафалком, люди возвращаются в гетто. У ворот полицейские их обыскивают, но не тщательно. Приподнимают крышку гроба, убеждаются, что он пуст.

Близкие погребенного расходятся по домам. Рядом с клячей бредут Моисей Король и Мещилейб. Король являет собою весь персонал похоронного бюро. Мещилейб вызвался ему помогать. Он напевает: "Мы были господами мира, теперь мы вши, теперь мы вши". Эту песенку сочинили немцы и приказали евреям ее петь, когда их вели на расстрел.

Моисей Король знал лучшие дни. Он получил в наследство от отца мельницу, но у него не было коммерческих способностей, он разорился, стал мелким служащим у нового владельца мельницы, был вынужден вместе с женой и дочерью

переселиться из богатого квартала на окраину города. Он долгие годы считал себя виновным перед Розалией, перед Марией, но, став жителем гетто, где все сравнялись, бывшие богатеи и нищие неудачники, он избавился от чувства вины. Он теперь как все. Более того. Неработающие старики получают синие карточки, а у него желтая, ценная, он делает нужную работу, он отправляет соседей в последний земной путь.

ГОЛОС КОРОЛЯ. Могут спросить: для чего мы хороним людей по Моисееву обряду здесь, где нас чуть ли не ежедневно убивают десятками, сотнями? И вот что ответит старый Моисей Король: в гетто люди умирают и своей смертью — от долгих лет, от голода, от болезней, и должен же кто-то соблюсти закон. Вот я и везу покойника ночью (немцы разрешают хоронить нас только ночью), и на кладбище мертвеца омоют, для него найдется рваный саван, над прахом прочтут поминальную молитву, и он ляжет в яму, которую выкопал не он, а его близкие, и Бог примет его душу, примет с моей помощью. И никто не знает, что гроб у меня с двойным дном.

Они приближаются к сараю. Это и контора, и стойло клячи. Открыв сарай, они втаскивают пустой гроб. Собственно говоря, тащит один Мешилейб, он моложе Короля и физически крепче. Может быть, он вообще здоров?

Снимают крышку гроба, приподнимают верхнее дно, достают два предмета. Это два автомата. Мешилейб заворачивает их в саван и со своей торбой выходит из сарая. Выходит и Король. Старик тихим шагом направляется домой, в квартиру напротив хасидской синагоги. А куда идет Мешилейб с торбой?

Он идет и бормочет: "Еврейские косточки, немецкие досточки". Вот и впрямь доски: ими крепко заколочена задняя калитка бездействующего костела. Но под досками есть яма, она засыпана запорошенной снегом землей. Мешилейб разгребает яму, впихивает в нее свое грузное тело (он единственный грузный житель гетто), а потом саван с автоматами.

Картина двадцать вторая

Костел. Нет скамей, нет икон, все унесли немцы. Лишь кафельники свалены в дальнем пределе. Почему-то оставили кафедру. Около свечки, мягко горящей на табуретке под балкончиком с кафедрой, собрались Мария Король, Вольф Беньяш, Иче Яхец, Жюль Розенблюм и Лео Пергамент. В костеле прячется оружие: самодельные мины, автоматы, гранаты, бутылки, наполненные керосином и обмотанные тряпками. Керосином снабжает из своей скудной доли монастырь. Стоит тряпку поджечь, как бутылка взрывается. Бутылки получили название "Коктейль Молотова".

МЕШИЛЕЙБ (*вручает автоматы Пергаменту*). Подарочки от старухи.

ЛЕО ПЕРГАМЕНТ. Что за старуха?

ВОЛЬФ. Мать-настоятельница женского монастыря святой Екатерины. Добрые люди верят в нас. Так будем же и мы делать добро: убивать фашистов. Только это и есть добро, а все прочее... Мы теперь должны быть солдатами. Наша задача: вынести оружие из гетто и присоединиться в лесу к партизанскому отряду.

ИЧЕ ЯХЕЦ. В партизанском отряде коммунисты и комсомольцы.

ЛЕО ПЕРГАМЕНТ. Я тоже считаю себя коммунистом.

ИЧЕ ЯХЕЦ. Мы должны не просто быть солдатами, не просто выжить, не просто победить, а выжить и победить как евреи. Иначе для чего мы страдали в диаспоре двадцать веков, оставаясь евреями?

ЛЕО ПЕРГАМЕНТ. Коммунисты и комсомольцы борются. Они изготовили своими руками мину и взорвали железнодорожный мост. Мы вступим в их отряд. Хватит, Иче, заниматься пустословием.

ИЧЕ ЯХЕЦ. Мои мины более опасны для немцев. Я после работы обучаю детей языку пророков, нашей истории. Если мы победим не как евреи, а как помощники коммунистов, то это будет не победа, это будет наша гибель.

ВОЛЬФ. Что значит, Иче, выжить как еврей? И какие еврей? Такие, как Чаковер или Абрам Зивс, которые, чтобы самим выжить, отправляли и отправляют на массовый расстрел самых знающих, мыслящих и, прежде всего, евреев из Западной Европы. Ты подумал ли о том, что свои еврейские речи ты произносишь в католическом храме. Он опустел, заперт со всех сторон, но он храм, его голые стены хранят наше оружие. И мы, тоже запертые со всех сторон, неотделимы от этого храма, от христианской Европы.

ЖЮЛЬ РОЗЕНБЛЮМ (*к Марии, по-немецки*). О чем они говорят?

Мария переводит.

ЖЮЛЬ РОЗЕНБЛЮМ. Я раньше думал, что только у нас, в Антверпене, евреи любят поговорить, теперь я вижу, что настоящие болтуны — здесь. Боже мой, причем тут христианская Европа, философия, когда время не ждет, надо дело делать. Я передал свой аусвайс нашему парню, часовщику, он починил часы немецкому солдату, у них завязалось знакомство, и парень выбрался из гетто, раздобыл водку, выменял ее у солдата на автомат. Парня расстреляли. Но его убили не так, как резник убивает индюка, его убили, как солдата. Докажем, что мы не индюшки, не куры, не овечки, что мы солдаты. Пора, давно пора. Вольф прав. Мы должны присоединиться к партизанскому отряду.

ИЧЕ ЯХЕЦ. Вольф, разве ты любишь коммунистов?

ВОЛЬФ. Я не люблю коммунистов, но я хочу выжить как человек. Это немцы думают, что они уничтожат нас как евреев. Они уничтожат нас, потому что мы люди, а они — нелюди. И если людям могут помочь люди, пусть даже коммунисты...

ГОЛОС ИЧЕ ЯХЕЦА. Я могу понять этого Лео Пергамента. Такие, как он, избалованные сынки богатых семей, всегда и всюду становятся жертвами коммунистической эпидемии. В них нет духа сопротивления, они — стадо. Но Вольф, умница Вольф, почему он готов прийти к коммунистам? Ведь он хорошо знает, как они опасны, какую беду несут они людям. А что знаю я? Знаю, что в мире есть только

Божество, и больше ничего нет в мире. А раз так, то ничто не может считаться абсолютным злом, ибо и зло есть, пусть временное, проявление Божества. Всякий человек, даже самый дурной, может подняться до Божества, ибо Он присутствует и в дурном человеке, а не только в праведнике. Значит ли это, что Бог есть и в Гитлере? И в гестаповцах? Как мне жить? Помоги мне, о хабад — хохма, бина и даат, мудрость, понимание и познание! Неужели не у меня, а у неверующего Вольфа есть хабад? Боже, помоги мне!

ВОЛЬФ. Наша задача — не просто выйти из гетто, а выйти с оружием.

МАРИЯ. Я знаю, как можно вынести оружие, как выйти из гетто без полицейского досмотра.

МЕШИЛЕЙБ. Только в гробу, только в гробу.

МАРИЯ. В квартире Чаковера есть тайный выход в город. Чаковер пользуется им, когда ему вечером надо пойти в гебитскомиссариат или к уполномоченному гестапо. Кроме того, через этот вход поступают вечером продукты, их делят между собой Чаковер и Абрам Зивс.

ВОЛЬФ. Почему ты мне об этом тайном ходе не сказала раньше?

МАРИЯ. Я узнала только сегодня.

ВОЛЬФ. От кого?

МАРИЯ. От Евы.

ЛЕО ПЕРГАМЕНТ. Можно ли ей доверять? Образованная девушка, дочь известного дирижера, вышла замуж, ради сытой жизни, за гнусного старика, родила ему двух детей. Только жене Чаковера немцы разрешили родить детей.

МАРИЯ. Не говори так о Еве. Она хорошая. Она попала в гетто прямо из венской гимназии. По дороге к ней приставали гестаповцы. А тут появился Чаковер. Что могла понять эта девочка? Пожилой человек защищает ее по-отцовски. А дальше случилось то, что случилось. Она не глупа, она быстро раскусила своего мужа, она ненавидит его. Она может нам.

ЛЕО ПЕРГАМЕНТ. Откуда она знает о нас?

МАРИЯ. От меня.

ЛЕО ПЕРГАМЕНТ. Твоя болтовня нас погубит. Неужели ты ей рассказала и о костеле?

МАРИЯ. Я верю ей как себе. Она берется устроить наш побег.

Со стороны задней калитки слышен шум. Все настораживаются. Ясно, что кто-то возится в яме. Вольф Беньяш, держа автомат, идет в сторону заколоченной калитки. Из ямы поднимается Ева. Ее лицо, сравнительно нарядная шляпка и пальто осыпаны землей.

ЕВА (*отдышавшись, к Марии*). Прости меня, Мария, я должна была прийти. Чаковера вызвал к себе новый уполномоченный гестапо, выход из нашей квартиры свободен. Думаю, мы успеем выбраться. Раз уполномоченный новый, то разговор у них будет долгий. Девочки мои одеты, мы уйдем с вами. Я собрала кое-какую еду.

Все молчат.

ГОЛОС ЕВЫ. Они мне не доверяют. Они правы. Жена мерзавца тоже мерзкая.

ГОЛОС ВОЛЬФА БЕНЬЯША. Даже если она не предательница, то все равно сегодня нам рано бежать из гетто. Не считая этой Евы с двумя детьми и Мешилейба, нас всего пятеро. Мало, очень мало. Надо собрать хотя бы пятьдесят — шестьдесят парней. Такую цифру мне назвал связной из партизанского отряда.

ВОЛЬФ БЕНЬЯШ. Скажите, Ева, часто ли Чаковер выходит по вечерам из дому?

ЕВА (*смущаясь от вопроса этого по-молодому сурового, властного человека*). Оксенгафт назначал ему свидания каждую пятницу, поздно вечером.

ВОЛЬФ БЕНЬЯШ. Как долго в такие вечера ваш муж отсутствует?

ЕВА. Иногда часа два, иногда не больше часу.

ВОЛЬФ БЕНЬЯШ. Вы рано разбудили своих девочек. Рано их одели. Сегодня мы не готовы. А сейчас я пойду с вами, погляжу на потайной ход.

Картина двадцать третья

С того вечера в костеле прошла неделя. Опять воскресенье. На улице, напротив хасидской синагоги — Иче Яхец и Цезарь Козловский. У Козловского лицо то улыбающееся, то плачущее.

КОЗЛОВСКИЙ. Возьми, Иче. *(Дает горбушку.)*

ИЧЕ ЯХЕЦ. Спасибо вам. Это для моих.

КОЗЛОВСКИЙ. Один ты из всей семьи работаешь?

ИЧЕ ЯХЕЦ. Благодаря вам.

КОЗЛОВСКИЙ. Ты славный парень, Иче. Молодой, а набожный. Это теперь не часто встречается. И после работы учишь детей древнееврейскому языку. Мой сын Яша тобой восхищается.

ИЧЕ ЯХЕЦ. Способный мальчик.

КОЗЛОВСКИЙ *(обрадованный)*. Ты так думаешь? Только бы наши дети выжили, дождались лучших дней. А лучшие дни непременно наступят. Красная Армия уже близко. Что об этом говорит Вольф Беняш? Он работает на военном объекте, он кое-что знает.

ИЧЕ ЯХЕЦ *(чувствуя опасность)*. Я редко с ним разговариваю.

КОЗЛОВСКИЙ. Я спросил, потому что пару раз, проходя мимо, видел, как он поднимается в вашу квартиру на второй этаж. Решил, что к тебе.

ИЧЕ ЯХЕЦ. Не ко мне. К нашей соседке Марии Король. Она его невеста.

КОЗЛОВСКИЙ. Замечательная девушка. Дай Бог им счастья. Скоро в гетто жизнь станет легче. Новый уполномоченный гестапо не то, что Оксенгафт. Того отправили ловить партизан. А новый, фамилия его Зиблиер, доктор философии. Говорят, что он читает Монтеня в подлиннике. Умный, образованный. Конечно, требовательный, но не злодей. Ты посоветуй Вольфу Беняшу, чтобы он держал язык за зубами.

ИЧЕ ЯХЕЦ. Я его плохо знаю, хотя мы с его невестой соседи. Не заметил, чтобы он был болтуном.

КОЗЛОВСКИЙ. Не скажу как, но стало известно, что Вольф обвиняет Чаковера в том, что Чаковер отправляет на убой всех интеллигентов, что председатель Юденрата, в сущности, верный слуга гестапо. Ложь и клевета. Чаковер чудный человек. Ему в Юденрате мешает Абрам Зивс. Только не выдай меня, Зивс и на меня точит нож, мясник есть мясник. Его злит, что я защищаю вас, молодых, начитанных. Про Монтея Зивс никогда не слыхал.

К разговаривающим тихо и грузно подходит Мешилейб. Он услышал последнюю фразу.

МЕШИЛЕЙБ. Кай Юлий Цезарь боролся с Помпеем, а Цезарь Козловский борется с Абрамом Зивсом.

КОЗЛОВСКИЙ (*испуганно визжит*). Откуда ты взял? Кто тебе поверит? (*С внезапным озарением.*) А ты знаешь, что есть приказ уничтожить в гетто всех больных?

МЕШИЛЕЙБ. Только сумасшедшие останутся. Умных убьют, умных убьют.

Автомобильный гул. В гетто въезжает новый уполномоченный гестапо Зиблер, брюнет с заостренным книзу лицом, почему-то небритый, волос у него густой. У него, видимо, душа арийская, а не тело. Он в пенсне. Писатели думают, что, нарисовав внешность человека, они как-то объясняют его характер. Грубая ошибка. Если Зиблер переживет войну, он станет почтенным чиновником, скорее всего, в ГДР, или преподавателем гимназии, и никто по заостренному лицу господина доктора Зиблера не догадается, что он был уполномоченным гестапо в гетто. И если выживут обреченные, то и по их постаревшим лицам никто не поймет, кто из них и в гетто сохранил черты человека, а кто был полицейским, холуем. Впрочем, можно ли обвинять обреченных? Мнения по этому поводу расходятся.

Вслед за машиной Зиблера въезжает грузовик. Гестаповцы прыгают из кузова. Они вооружены. В руках у них пачки сигарет и конфеты. Появляется и отряд геттовских полицейских, предводительствуемый Абрамом Зивсом. Из-за угла привычно-важной походкой выходит Генрих Чаковер. Он взволнован, это видно потому, что рот у него пере-

кошен кривее, чем обычно. Почтительно извиваясь, он приветствует Зиблера. Неожиданно возле уполномоченного гестапо возникает Мешилейб.

МЕШИЛЕЙБ. Такой красивый офицер, такой статный, а небритый. Нехорошо, ой, как плохо.

ЗИБЛЕР *(смеясь)*. Ты кто? Спиноза? Эйнштейн?

АБРАМ ЗИВС *(не понимая юмора уполномоченного гестапо)*. Его зовут Мешилейб. Он сумасшедший. Господин Оксенгафт приказал его не трогать и подкармливать.

ЗИБЛЕР. У Оксенгафта тонкая натура. Много ли радости от мертвого еврея? А сумасшедший еврей приятен. Между прочим, он прав. Надо побриться. Ваш парикмахер не брежет меня? *(Намеревается удалиться.)*

ЧАКОВЕР *(улыбается перекошенным ртом)*. Господин уполномоченный шутник, как могла ему прийти в голову такая мысль? Большая честь для геттовского парикмахера.

ЗИБЛЕР *(оборачиваясь)*. Что ж, окажу ему честь. *(Обращается к гестаповцам и к Зивсу.)* Выполняйте приказ.

ЧАКОВЕР *(Зивсу)*. Какой приказ? Почему я ничего не знаю?

ЗИВС. Не вам выполнять, а мне. Белоручки не нужны. Приказ такой: собрать тысячу стариков, старух и детей. Их увезут в Латвию, в лагерь Кайзервальд.

ЧАКОВЕР. Увезут или...

ЗИВС. Их расстреляют в лесу.

ЧАКОВЕР. Напрасно меня не предупредили. Отбор следует произвести продуманно. Вы с этим не справитесь.

Гестаповцы и полицейские выгоняют из квартир стариков, старух, детей, всех, не способных работать. Раздача подарков: старикам – сигареты, женщинам и детям – конфеты. У одного из гестаповцев фотоаппарат: съемка пасторальной сцены. Все знают, что такие подарки раздают перед расстрелом, есть опыт, но боятся верить опыту, надеются, что их действительно отправят в Латвию.

Здесь и семья Пергаментов, и Яхецы, и мы узнаем Моисея Короля и его жену Розалию. Гестаповцы отгоняют молодых, чтобы не мешали осуществлять акцию. Розалия Король

глядит мужа по щеке, она привыкла к тому, что мужа надо подбодрить, он всегда себя считает виновным перед семьей, перед всеми. Эта женщина всю жизнь была сильнее мужа, и даже теперь, когда жизнь кончается, в ней, в Розалии, в слабенькой, с тихим голосом и прозрачным, как бы уже нездешним лицом, сосредоточено все, что держит Моисея на земле. Старый Яхец молится. Госпожа Пергамент, беззубая (у нее давно вырвали ее золотые зубы), вздымая руки и обнажая прорехи в своем черном атласном платье, кричит: "Лео, сыночек мой, хоть ты один живи! Отомсти за нас, Лео!"

Дальше действие разворачивается с трагической быстротой. Мы на время перестаем в толпе видеть молодых – Вольфа Беньяша, Иче Яхеца, Лео Пергамента, Жюль Розенблюма, но вот они появляются снова.

СТАРУХА ЯХЕЦ (из толпы угоняемых). Иче, дитя мое!

МАРИЯ (из толпы остающихся). Мама! Папа!

ЗИВС (считает). Восемьсот семьдесят шесть, восемьсот семьдесят семь...

КОЗЛОВСКИЙ (к молодым). Мне поручено вас заверить, что старики и дети будут в Латвии сносно устроены. Господин уполномоченный гестапо сказал нам, членам Юденрата (врет, но уверен, что его вранье будет одобрено): "Надо хорошо работать и не связываться с партизанами. Немцы не хотят истребить евреев, рейху нужна рабочая сила".

Жюль Розенблюм зажигает бутылку с керосином и бросает "Коктейль Молотова" в Цезаря Козловского. Козловский падает, охваченный огнем. Гестаповцы стреляют. Вольф Беньяш и Иче Яхец кидают в них гранаты. Среди гестаповцев есть убитые.

ОДИН ИЗ ГЕСТАПОВЦЕВ (Зивсу). Скорее со своим отрядом к воротам. Никого не выпускать.

Абрам Зивс уводит геттовских полицейских. Они перепуганы, они боятся, что их убьют, если не гестаповцы, обозленные отсутствием у них бдительности, так свои. Они не замечают, что по кривым улочкам движутся несколько десятков жителей гетто, что Вольф Беньяш ведет их к квартире Чаковера. Гестаповцы расстреливают стариков и детей,

тех, которых якобы решили увезти в Латвию. В живых не остался никто. Гестаповцы уезжают на своем грузовике. Уезжают не все: на мостовой лежат те, кого уничтожили гранаты Вольфа и Иче Яхеца. Так они и лежат рядом: гестаповцы и жители гетто, сгоревший Цезарь Козловский и убитый Генрих Чаковер.

А в парикмахерской, в продырявленном соломенном кресле, остывает, с пенсне на носу, с перерезанным горлом, доктор философии, уполномоченный гестапо Зиблиер.

Картина двадцать четвертая

Город давно позади. Польский лес. Во тьме зимней ночи движутся люди. Двигутся тяжело, у них оружие. Что будет с ними, что их ждет, как примет молодых парней партизанский отряд коммунистов? Вместе с будущими бойцами партизанского отряда через потайной ход квартиры Чаковера выбрались из гетто и Ева с двумя девочками, и доктор Самуил Орбант, и инженер Натан Беньяш, и Мешилейб. Как всякий прирожденный предводитель, Вольф Беньяш убежден, что ведет людей правильно, у него нет сомнений, а если они у него возникают, то он их отбрасывает со свойственной такого рода характерам самоуверенностью. Во всяком случае, с тропинки они не сбиваются, Вольф Беньяш ее не видит во тьме ночи, но чувствует, что она вьется под ногами.

Позади всех — Мешилейб. Те, кто движется перед ним, не сразу замечают, что он падает. Первым, кажется, увидел Натан Беньяш. Или ему показалось, что увидел. Он останавливается, и все, по какому-то наитию, присущему беглецам, тоже останавливаются на узкой тропинке. Ее по рыхлому снегу обходит Лео Пергамент и склоняется над Мешилейбом.

МЕШИЛЕЙБ. И позвал он Иисуса Навина.

Лео Пергамент и Натан Беньяш приподнимают его. Тепло его горит, он снова падает на снег.

МЕШИЛЕЙБ *(тихо, но его слышат).* И не вошел он в землю Ханаанскую. А блуждали они сорок лет. Мамочка, по-

чему Бог наградил тебя таким сыном? Разве ты не заслужила другого — здорового, умного? Ты была высокая, глаза синие, как небо. Сорок лет, сорок лет. А давно ли я бегал по местечку босиком, и гнался за бабочками и не мог их догнать.

Доктор Орбант прикладывает ухо к его сердцу, щупает лоб.

ОРБАНТ (*вставая*). Положить бы его в больницу.

МЕШИЛЕЙБ. Осенью я тоже ходил босиком. В школу я ходил босиком. Я был самым бедным учеником в школе, но учился лучше всех, ты гордилась своим сыном, мамочка, ты зимой штопала мои носки, потому что зимой я не ходил босиком. Ты штопала и штопала мои носки, а руки твои мелькали, как бабочки.

ОРБАНТ (*Вольфу*). Что делать с ним?

Вольф Беньяш молчит, потому что на мгновение утратил свою самоуверенность, но не хочет, чтобы другие это почувствовали.

МЕШИЛЕЙБ. Думал ли я, что ты станешь матерью старого, сумасшедшего сына? Но когда нас расстреляли и оказалось, что я жив, а ты, мамочка, лежишь мертвая, разве среди трупов я мог не сойти с ума? Разве нужен разум в безумном мире? И собрались старейшины всех колен, и похоронили его в пустыне, и пошли, и вошли в землю Ханаанскую.

Доктор Орбант снова прикладывает ухо к сердцу Мешилейба, щупает пульс.

ОРБАНТ. Кончился.

НАТАН БЕНЬЯШ. У одного из молодых я видел лопату.

ЛЕО ПЕРГАМЕНТ (*резко*). Нам некогда рыть могилу. К утру мы должны быть на месте.

Поднимают Мешилейба и уносят подальше от тропинки, кладут между деревьями. Вспыхивает звезда и странно и бледно освещает мертвого. Иче Яхец читает над ним молитву — кадиш. Лео Пергамент недоволен, он торопится, но понимает, что спорить нельзя. Он не слышит, как плачет Ева.

Люди идут дальше. Как сложится их судьба?

У гетто нет фабулы. Может быть, мы когда-нибудь узнаем, что Жюля Розенблюма, как бельгийца, еще до конца войны арестуют, и он погибнет в тайшетском лагере; что Иче Яхец, как сионист, будет прямо из партизанского отряда отправлен в республику Коми, где он, нетрудно нам вообразить, встретится с Бегинном, и вот, бывший ешиботник и будущий премьер, после долгих мук, окажутся в Израиле; что через несколько лет после окончания войны старый заслуженный инженер Натан Беньяш будет выслан Гомулкой из Польши и в одиночестве окончит свои дни в Дании; что доктора Самуила Орбанта, по странной случайности, из Польши не вышлют, наоборот, ему дадут приличную пенсию, и до конца дней своих, не оставляя частной практики, он будет лечить от всех болезней холодными компрессами на голову и горячими ножными ваннами, пренебрегая насмешками со стороны врачей новой генерации.

Найдем, однако, в себе мужество оптимизма, выдадим замуж за Вольфа Беньяша, уже в партизанском отряде, Марию Король, и позволим ей погибнуть почетной, героической смертью, государством признанной смертью. Она погибнет, когда будет на третьем месяце, пойдет на задание, и ее повесят.

ГОЛОС ВОЛЬФА. А я буду в этот день отремонтировать нашу рацию... Как мне об этом писать? Где найти слова? Какая рация их передаст? Кто услышит, как болит мое сердце? В одной нашей песне поется: "Только сердце может плакать без слез". Но как ему плакать без слез? Может быть, моя история гетто попадет в руки писателя, и он прочтет и о гетто, и о партизанском отряде, и о Черкасове, и о гибели Марии, и переведет словами боль моего сердца? Боюсь, что это будут сухие, холодные слова.

Между тем погибнет и Вольф Беньяш, и при странных обстоятельствах. Его сразу же невзлюбит командир отряда. Этот командир, чья партизанская фамилия была Черкасов, пришел на войну из мира кино. Он не был ни актером, ни оператором. Он был кадровиком. В его поведении в лесу, в отряде, сказывалась причастность и к искусству, и к органам. Он обладал фантазией. Он редко сам участвовал в зада-

ниях, но каждое свое участие оформлял по-режиссерски броско. Докладывая об успехах отряда наверх, он умел обставить дело так ловко, что каждый мелкий успех отряда становился значительным в глазах начальства. Высокий, здоровый, он легко добивался любви санитарок и связисток — и не только потому, что был их командиром. С теми, кто выказывал недовольство, кто роптал или негодовал на то, что он присваивал себе их заслуги, крепко пил, вкусно жрал, развратничал, он расправлялся просто: всегда получалось так, что их убивали немцы. А почему получалось именно так? Иные задумывались, а иные боялись задумываться. Он приставал к Марии, Вольф крупно с ним поговорил, и вот Мария не вернулась с задания. Случайность? А однажды, когда Черкасов сам повел на задание почти весь отряд, Вольф Беньяш был убит и рация — обдуманно? — была выведена из строя.

Скоро ли отряд получит другую рацию? Не надо этого ждать, не надо останавливаться, страшно останавливаться, лучше продолжим перечисление. Легко допустим, что Лео Пергамент станет командиром взвода разведчиков, его наградят орденами, и пусть ветеран старится в родном городе, любимый женой, детьми и внуками и даже почитаемый властями. Каждый год, накануне Йом Кипура, он, хотя и неверующий, будет, опираясь на палку, ходить по тем узким, кривым улочкам, бегущим то вверх, то вниз, где было гетто, где гестаповцы убили всех, оставшихся там, — после того, как почти шестьдесят человек через потайной ход выбрались на волю.

Только одного Абрама Зивса найдет в живых вступившая на улицы гетто Красная Армия, и шеф геттовской полиции еще женится на нестарой женщине, и в маленьком городке откроет мясную лавку, потому что в Польше будет разрешена мелкая частная торговля, и, рассказывая покупателям о жизни в гетто, не забудет добавить: "Не лучше гестаповцев были геттовские полицейские, наши еврейчики, будь они прокляты".

Не надо останавливаться, потому что беглецы еще в ле-

су. Кто-то сравнил лесной мрак с кафедральным. Однако сейчас польский лес, если и напоминает храм, то скорее очень древний, дохристианский, может быть, ассирийский. Но что это? Молящиеся застыли в своем созерцательном молчании или деревья в островерхих жреческих шапках смотрят на небо, где горит только одна звездочка? Маленький светящийся мир над ночью земли.

Рассветает, лес редет, и мы видим широкую проселочную дорогу, кое-где заболоченную. По ней ли направятся беглецы, пойдут ли со всеми Ева и две ее девочки? Нет, Ева с детьми, Натан Беньяш и Самуил Орбант уходят на запад, а весь свой небольшой отряд Вольф Беньяш уводит на восток, к партизанам.

Новый день встает над лесом, и не геттовским рваным, а плотным снежным саваном накрывает посреди молчащих деревьев Мешилейба.

Картина двадцать пятая

Февраль 1945 года. Тот самый город, где было знакомое нам гетто. Теперь, когда в город вступила Красная Армия, у нас появилась возможность его обозреть. Он напоминает чашу, края которой некогда — еще недавно — представляли собой аристократические кварталы. Горожане победнее жили на дне чаши. Впрочем, город в средние века создавался на дне чаши, именно там, а не на ее краях сохранились старинные здания, ратуша, церкви. На дне чаши, окруженной со всех сторон лесом, было гетто. Гористые очертания города и подсказали кривизну улиц гетто, их стремление вверх.

Город сильно разрушен, а от гетто не осталось ни жилья, ни человеческого дыхания. Только хасидская синагога мрачно, пусто и одиноко темнеет посреди оголенного камня развалин. Да еще целы ворота, еще на них читается надпись: "Внимание. Еврейский квартал. Опасность заражения".

Мы поднимаемся мимо ворот, мимо костела, мимо обез-

главленного памятника, может быть, Мицкевичу — или Шопену — и возникает стена. Перед нами — уцелевший от бомб и снарядов обеих армий женский монастырь святой Екатерины. Его домики укромно расположились на улице святого Станислава. Скоро ее переименуют в улицу Рокоссовского.

Монастырские ворота открыты. Войдем. Направимся в гостевой флигель. Вдали — храм, рядом — одноэтажный домик, наверное — покои матери-настоятельницы. Вот из-за поворота появилась монахиня с коромыслом, ведра полные, добрый знак, она что-то прошептала, может быть, приветствие, и медленно пошла дальше в своем темно-синем платье, в белом чепце и в очках с металлической оправой. Тишина. Не такая тишина, какая бывает после боя и от которой жуть берет, а тишина благочестивой прелести природы.

В гостевом флигеле, в чисто выбеленной келье — две женщины и две маленькие девочки. Старшая девочка, Ревекка, спит на узкой постели. Двухгодовалая Гетта уселась на коленях у матери-настоятельницы. Старая монахиня ласкает ее, щечочет, девочка смеется.

МАТЬ-НАСТОЯТЕЛЬНИЦА. Худьшечка моя, котенок. *(К Еве.)* Странное у нее имя. Не помню, оно библейское?

ЕВА. Не знаю. Мы ее назвали Геттой, потому что она родилась в гетто.

МАТЬ-НАСТОЯТЕЛЬНИЦА *(продолжая ласкать девочку).* И какая она у нас веселая, какая смешливая.

Гетта смеется еще громче. Мать-настоятельница, лаская девочку, впервые чувствует себя просто матерью. Высокая, худая женщина, крестьянская дочь. У нее и руки крестьянские, темные, потрескавшиеся от работы на огороде. Она начитана и в светской литературе, знает языки. С Евой говорит по-немецки. Она рада, что сделала благое дело, приютила эту несчастную с ее детьми, но на душе у нее неспокойно. Город заняла армия того государства, которое откровенно, безбоязненно называет себя атеистическим. Что будет с монастырем? Что ожидает сестер? Но с другой стороны, разве не эта армия добывает врагов рода человеческого — гитлеровцев?

Разве не внес монастырь посильную лепту в казну милосердия?

МАТЬ-НАСТОЯТЕЛЬНИЦА. Сестры собрали в саду шиповник. Он полезен, богат витаминами. Мы его называем монастырским вареньем. Я скажу, чтобы тебе принесли, девочки полакомятся.

ГОЛОС ЕВЫ. Вот уже прошло три недели с того дня, когда господин Беняш привел нас в монастырь. Как здесь хорошо, тихо. В лесу тоже было тихо, но страшно. Доктор Орбант боялся волков, а господин Беняш говорил, что опаснее волков рыскавшие по лесу гитлеровцы. Хлеб, который мы припасли в гетто, был съеден, хотя мы его ели по крохотному кусочку в день. Последние дни в лесу мы не ели ничего. А когда внезапно пошел дождь, я наломала несколько веток, воткнула их в землю, накрыла своим пальто и спрятала под навесом детей, а дождь лил, лил.

МАТЬ-НАСТОЯТЕЛЬНИЦА (*как бы угадывая мысли Евы*). Ты окрепла здесь, дитя мое, и девочки окрепли, скоро вы вернетесь домой, в Вену.

ЕВА. Нет у нас дома в Вене. Отца увели в концлагерь сразу же после аншлюса, его там убили. Мама умерла. Ее отец, мой дедушка, был австрийцем, во мне четверть нееврейской крови. Я могла бы спастись, спрятаться у австрийских родственников, но меня в день маминых похорон выдал сосед, и меня угнали в гетто. В детстве дедушка водил меня в церковь. И когда я выросла, я иногда приходила в церковь со своей гимназической подругой, дочерью того соседа, который меня выдал. А он, бывало, меня и подругу угощал в кондитерской пирожными. И я стала думать, что нет доброты, нет веры, есть притворство. Только у вас в монастыре я почувствовала, что могут быть и любовь к Богу, и любовь к людям.

МАТЬ-НАСТОЯТЕЛЬНИЦА. Бог и есть Любовь. Это начало всех истин. Бог у всех один. Мы рады, сестры и я, что господин инженер привел к нам тебя и девочек. Я давно знаю господина инженера. При немцах наши сестры прятали у него оружие, которое нам приносили люди из его бригады.

Только оружием и занимались. И нами руководил господин Беньяш.

ЕВА. Вы и сестры могли погибнуть, гитлеровцы вас бы не пощадили.

МАТЬ-НАСТОЯТЕЛЬНИЦА. Для того мы и удалились от мира, чтобы помогать людям — даже ценою собственной жизни. Так поступать нам завещал наш Бог, смертью смерть поправший.

ЕВА. Только что вы сказали, что Бог у всех один.

МАТЬ-НАСТОЯТЕЛЬНИЦА. Ты права, дитя мое. Давай вместе помолимся, ты по-своему, я по-своему.

ЕВА. Мой отец был музыкант, артист. В нашей семье меня не научили молиться.

МАТЬ-НАСТОЯТЕЛЬНИЦА. Тогда повторяй за мной. Устами и сердцем.

ГЕТТА (*смеясь, к матери-настоятельнице*). Замолчи! Не рассказывай! Никогда не рассказывай! Лучше будем играть.

Женщины молятся. Бог не прислушивается к латинским словам молитвы, Он задумался, Он смотрит на детей, и Его улыбкой озаряется келья в гостевом флигере монастыря.

Картина двадцать шестая

Конец мая 1945 года. Все цветет. Развалины домов пригреты солнышком. Уцелело одноэтажное здание. В нем разместилось советское учреждение, в котором решаются судьбы перемещенных лиц, бездомных людей. Сюда приходят оставшиеся в живых узники концлагерей, чтобы получить разрешение вернуться на родину — в Венгрию, Австрию, Германию и дальше на запад. Вначале, когда Красная Армия вступила в Польшу, таких людей отпускали на все четыре стороны, но когда хмель победы немного поутих, государство пришло в себя, приступило к тщательной проверке. Иные просители, если они евреи, хотят уехать в Палестину, тогда еще подмандатную территорию Англии. Впрочем, многие

туда пробираются без разрешения, для этого нужны только смелость, привычка к опасностям.

А здесь люди, пережившие, испытывавшие на себе все злодеяния мира, безропотно дожидаются своей очереди. Очередь длинная. Одни сидят на обугленных скамьях, другие на камнях соседних домов. Разговаривают по-немецки, по-венгерски, по-польски, на идиш, некоторые по-французски. Только английская речь не слышна, среди бывших узников лагерей на земле Польши нет американцев и англичан.

ГОЛОСА. Они обо всем спрашивают, все их интересует. Где родился, точный адрес. Когда и где попал в плен. Полк, рота. Из какого лагеря. Как выжил. Из какого гетто. Как выжил. В самом деле из Венгрии? Где жил, в Буде или в Пеште? Какая улица? В самом деле из Австрии? Кто были соседи? Имена? Что вам делать в Германии? Там голод, разруха. Есть сведения, что вы гражданин Советского Союза. Обмануть нас не удастся.

Молодая женщина прислушивается к говорящим по-немецки, но в беседу ни с кем не вступает. Это Ева. Конец зимы и начало весны она провела как бы на правах послушницы в монастыре святой Екатерины. Вместе с сестрами колола дрова, топила печи, таскала воду, готовила еду, стирала, подметала обширный монастырский двор.

Внимание Евы привлек человек, сидящий напротив нее на камне. У него полузакрыты глаза. Собственно говоря, внимание Евы привлекает не столько он сам, сколько его рука, на которой выжжено пятизначное число. Почувствовав ее взгляд, человек открывает глаза. У него резкие черты лица, прямой, чуть раздвоенный подбородок, расплющенный монгольский нос. Да, да, это Юзеф Помирчий, наконец-то он здесь, довольно далеко от старой советской границы. Он вбирает в большие легкие воздух весны. Ему жарко. Он закатал рукава гимнастерки.

Из учреждения выходит офицер. Он без фуражки. Смесь, с деланным ужасом, оглядывает многочисленных ожидающих и исчезает среди развалин.

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Даже чекисту надо сходить по малому делу. Египетскому фараону приходилось тяжелей. Так как он считался богом, то вынужден был бежать на рассвете, пока во дворце его никто не видит.

ЕВА. Что вы сказали?

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Вы не понимаете идиш?

ЕВА. С трудом.

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Будем говорить по-немецки. Куда вы хотите попасть?

ЕВА. На родину. В Вену.

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Вы им сумеете доказать, что родились или жили в Вене? У вас есть документы? Свидетели?

ЕВА *(в отчаянии)*. Откуда я возьму свидетелей? Какие могут быть у меня документы? Я скажу господам офицерам, что моя фамилия Бельфор, мой отец был дирижером венской оперы, его имя венцы не могли забыть.

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Мне кажется, что я тоже слышал фамилию Бельфор. В прежней жизни. Венская опера. Не шутка. Может сработать. Вы одна?

ЕВА. Со мной две маленькие дочери.

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Сколько лет вашим девочкам?

ЕВА. Старшей пошел четвертый, младшей два года. Я их родила в гетто.

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Мою жену и сына убили в гетто. Среди многих тысяч. Хорошо, что родились еврейские дети. Мне говорили, что в гетто беременных расстреливали.

ЕВА. Мой муж был председателем Юденрата, нам позволили иметь детей, только нам, больше никому. Что за цифры у вас на руке?

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Освенцим. Так полагалось. Где теперь ваш муж?

ЕВА. Его убили.

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Если немцы убили председателя Юденрата, значит, он был честный, порядочный человек.

ЕВА. Он был дурной человек. Я не знаю, кто его убил. Стреляли и гестаповцы и наши.

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Вас соединил по закону геттовский раввин? Вы Бельфор или носите фамилию мужа?

ЕВА. В гетто моя фамилия была Чаковер. Отвратительная фамилия.

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Почему отвратительная? Вы не любили своего мужа? Понимаю, в гетто выбирать не приходится. Возьмите мою фамилию Помирчий.

ЕВА. Помирчий? Откуда Помирчий? Кто Помирчий?

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Я — Помирчий.

Ева смеется. Впервые за годы войны от души смеется. Впервые смеются ее волшебные, блестящие глаза.

ЕВА. Вы хотите на мне жениться? Так сразу? Боже мой, сватовство в очереди!

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Вы из Вены, а я из Лодзи. Меня в Австрию могут не пустить. Но в Польше я оставаться не хочу. Послушайте меня. Разве я не понимаю, что я вам не пара? Мне ли жениться на такой красавице, на такой молоденькой? Я прошу вас мне помочь. Мы должны помогать друг другу. Вы им только скажите, что мы муж и жена, что наши девочки тоже родились в Вене, одной, допустим, седьмой год, другой пошел пятый. А что им на вид меньше — уж поверьте мне, их будут осматривать — так они же росли в гетто. Я не буду у вас в долгу, я постараюсь быть вам полезным, пока вы не устроитесь в Вене, а потом мы расстанемся.

ЕВА. Как вы, еврей, выжили в Освенциме?

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Я выдал себя за поляка. Мне помог один русский офицер, он был со мной в лагере. Люди должны помогать друг другу, если они в капкане у зверей. Мир перевернулся: теперь звери ставят для нас капканы.

ЕВА. Сколько вам лет?

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Вот вы меня уже спрашиваете, как невеста. Мы можем, если пожелаете, стать мужем и женой по-настоящему. Поверьте мне, я буду хорошим мужем и отцом. Ваши дочери помнят своего отца?

ЕВА. Старшая помнит.

ГОЛОС ЕВЫ. Что я делаю! Зачем я разговариваю с этим незнакомым человеком? А вдруг он уговорит меня? Угово-

рил же Чаковер, когда меня, чуть ли не прямо из гимназии, погнали в гетто, из нашей чудной Вены в польскую глушь, и я, голодная, измученная, да еще гестаповцы ко мне приставали, стала слушать Чаковера, мерзкого Чаковера, который сначала показался мне таким ласковым, добрым, как отец. "Ты безвольная, — говорил мне папа, — ты вся в дедушку-органиста, который, кроме Генделя и Баха, ничего не хотел знать, всегда находился в мечтательном, чисто немецком самопогружении, в медитации. Будь тверже, девочка моя, жизнь надо встретить с твердым сердцем. С отзывчивым, но твердым". Встретил ли папа конец своей жизни в концлагере с твердым сердцем? Неужели он был прав, я безвольная?

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Мне бы только выбраться из этого рая. Увидите, я открою дело, еще не знаю какое, но собственное, мы будем жить безбедно. Мне тридцать шесть лет.

ЕВА. Вы всего на тринадцать лет старше меня, а...

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Выгляжу стариком? Освенцим не Ницца. Еще я обязан вам сказать, что я не очень здоров. Но там я поправлюсь. Если бы был Пилсудский, я бы и здесь поправился. Мне бы только добраться до Вены. Или еще дальше. Дальше от них.

ЕВА. От кого — от них? Вас трудно понять, вы плохо говорите по-немецки.

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Ничего, научусь. А сегодня по-немецки с ними будете говорить вы. Мое дело — поддакивать. Вы помните, кто я? Юзеф Помирчий, больной человек, узник Освенцима. А вы были в гетто. Но Бог нам помог, мы нашли друг друга. Мы одна семья — вы, я, две дочери.

ЕВА. Одна семья.

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. В Австрии нам полагаются репарации. Живым евреям они дают репарации за мертвых. Неплохие деньги, так я слышал. А с вами, как с дочерью известного человека, австрийского дирижера, скупиться не будут. Тем более, что у нас маленькие дети. Где ваши родители?

ЕВА. Отец погиб в концлагере, мама умерла.

ЮЗЕФ ПОМИРЧИЙ. Убийцы. Противно у них брать деньги, но надо. Если вы согласитесь стать моей женой, то в Ве-

не поддакивать будете вы, а говорить с властями — я. Поверьте мне, я с этим справлюсь лучше вас. А не захотите — мы расстанемся. Конечно, расстанемся. Вы заслуживаете лучшей партии, даже с двумя детьми вас возьмет любой — моложе меня, здоровее, образованней. Помогите мне только здесь, пока мы здесь.

Юзеф Помирчий закрывает глаза.

ЕВА. Что с вами? Вам плохо?

Юзеф Помирчий тяжело дышит ртом.

ЕВА. Мой защитник.

Картина двадцать седьмая

Одесса. Сентябрь 1969 года. Однокомнатная квартира в новом, но ценном районе, и с базаром хорошее сообщение, и всего четыре остановки до аркадийского пляжа. В раскрытом окне слышно звонкое поскрипывание старенького, еще бельгийского, двухвагонного трамвая.

Против окна — полированная стенка, в которую вставлен цветной телевизор. На полках за стеклом — сервизы, один из них японский, на открытых полках — книги, стоят не густо, вразброс, тут и учебники по мореходству, и кое-какая беллетристика. Африканские и индийские божки.

На столе — бутылка водки, бутылка вина, помидоры, синенькие, салат, всякая зелень, котлеты с жареной картошкой. Нам знакомы сидящие за столом. Хотя Казе Яновской скоро пятьдесят, мы ее легко узнаем. Она такая же или почти такая же тоненькая, по-прежнему высока ее грудь. Казя гордится своей фигурой, в южном городе женщины ее возраста безобразно толстеют. Волосы теперь у нее не золотые, а красно-рыжие, крашенные хной. Здесь — это любимый цвет немолодых женщин, приезжий успел заметить. Шея у Казы, увы, в морщинах, и две морщинки у рта, и когда она говорит, а поговорить она любит, обнажаются золотые коронки.

Виктор Гулецкий тоже выглядит неплохо, его тоже лег-

ко узнать, хотя он несколько обрюзг. Мы не видим, что часть правой ноги у него отрезана. Слава Богу, не очень высоко. Костылей в комнате нет, значит, привык к протезу.

Не чувствуется, что Гулецкий рад гостю, рада Казя. Гость – Илья Миронович Помирчий.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Пришло ко мне письмо от Юзефа Помирчия. Мой однофамилец на вас в обиде. Он пригласил вас к себе в Мюнхен, а вы в своей открытке не дали ответа на приглашение. "Только одну открыточку, с паромом в море, – так он мне пишет, – я получил от Гулецкого"... Признаться, я тоже удивлен, ведь он с такой теплотой вспоминал вас, называл вас своим спасителем. Да и плохо разве побывать за границей?

КАЗЯ. Видишь, Вика, умный человек то же говорит, что и я. Давай поедем. Может, разрешат. *(К Илье Мироновичу.)* Он зовет Вику с женой и детьми погостить у него. Чем он там занимается? Что, у него большая квартира? Он пишет, что предоставит в наше распоряжение две комнаты. У нас нет детей. А у него есть?

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Он владелец небольшой фабрики, специализирующейся на женских брюках. Кажется, шестьдесят рабочих. У него не квартира, а собственный дом, по нашим понятиям, роскошный. Ведь фабрикант. Он женат на прелестной женщине, она моложе его, у них две дочери, старшая замужем в Америке, забыл, как ее зовут, имя младшей необычное, Гетта, она работает в Париже, переводчицей в аэропорту Орли.

КАЗЯ. Роскошный дом, фабрика, Париж. Сказка. Они побежденные, мы победители, а выходит...

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Когда наша группа уезжала из Мюнхена поездом в Нюрнберг, Юзеф пришел на вокзал меня провожать, еще раз просил непременно вас найти. Я вас разыскивал, Виктор Викентьевич, и наконец разыскал через министерство обороны. И вот теперь, когда я попал сюда в санаторий, оказалось, что вы живете совсем рядом...

КАЗЯ. А иначе не зашли бы? Нечего сказать, друг-од-

нополчанин. Сталинградец называется. Вы после войны бывали в Сталинграде? А мы были. Нас позвали на двадцатилетие сталинградской победы. Конечно, позвали Вику, как Героя Советского Союза, но поехала и я. Встретились с нашими из штаба, из политотдела. Каутского помните, командира соединения бронекатеров? Нет? Он тоже Герой Советского Союза, работает инженером, в Перми, кажется. А Зарембо теперь полный адмирал, но не зазнался, приветливый. Бережной так и остался контриком, не вырос, у него во какая военно-морская грудь (*показывает, что у контр-адмирала Бережного большой живот*), щеки трясутся, как у жирной бабы, ходит, еле ноги переставляет.

ГОЛОС ИЛЬИ МИРОНОВИЧА. Она при муже спокойно говорит о Бережном, с которым спала, вся флотилия знала. Но для женщины прошлого нет. А Гулецкий и бровью не поведет.

КАЗЯ (*от второй рюмки у нее весело закружилась голова*). Кто воевал в Сталинграде, тот его никогда не забудет. Мы с Викой потом служили в первой польской армии, два года назад побывали в Польше, нас пригласило правительство, мы оба награждены польскими орденами. За какой-то месяц до победы Вику тяжело ранило, а до этого он в Освенцим попал, много он у меня перенес, но Сталинград все-таки забыть не может. А знаете ли, товарищ военный переводчик, я в вас была немного влюблена, но вы на меня фунт презрения, хотя в штабе часто встречались.

ГОЛОС ИЛЬИ МИРОНОВИЧА. Свободно при муже касается таких тем. Штаб вспомнила. Как грубо с ней обошелся Еременко.

КАЗЯ. Вы в Москве по специальности работаете?

ГОЛОС ИЛЬИ МИРОНОВИЧА. Может быть, она так любит мужа, что вправе забыть прошлое.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Я читаю курс истории немецкой литературы в педагогическом институте.

КАЗЯ. Конечно, профессор, доктор наук?

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ (*улыбаясь*). И то, и другое, товарищ младший лейтенант медицинской службы.

КАЗЯ. Старший лейтенант. Виктор Викентьевич тоже педагог в мореходке. Ученики его боготворят. Те, которые в заграничии, до сих пор к нам приходят с подарками. Помнят. А начальство его так ценит, так ценит. Если бы он в партии был... Вы, ясное дело, в партии?

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Беспартийный.

Гулецкий молчит, как будто речь не о нем, но неудовольствия не выказывает.

ГУЛЕЦКИЙ. Выпьем, профессор.

Чокаются. Казя раскраснелась. Любящая жена, гостеприимная хозяйка принимает у себя фронтового товарища. Большинство одесских жителей мучается в захламленных коммуналках, уборная во дворе, а у них, хотя и маленькая, отдельная квартирка, все удобства, близко море и до центра не так далеко, муж педагог, она – медсестра в пансионате моряков, все хорошо.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Я впервые в Одессе. Удивительно красивый город, Европейский. Много о нем читал. Но то ли жители не те... Яркости не замечаю. На днях забрел на знаменитую Молдаванку. Ничего примечательного.

КАЗЯ. Только и говорят, что о продуктах и о шмотках. Моряки привозят шмотки из заграничии, делают дела через перекупщиков. Что творится у нас на толчке за еврейским кладбищем! Туда ходит автобус, съездите, получите впечатление. А женщины? Просто ужас. Не говорят, а кричат. Всегда кричат. Китобои в плавании почти круглый год – так что вы думаете? Создали совет жен, и накрашенные толстые старухи, завистливые ведьмы, следят за молодыми женами моряков, кто с каким мужчиной в кино пошел. Суды морали устраивают. Мещанский город.

ГУЛЕЦКИЙ. Самое лучшее, что есть в нашей жизни, это мещанство.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Парадокс.

Гулецкий ударяет указательным пальцем по опустошенной бутылке. Казя понимает сигнал, идет на кухню, достает из холодильника вторую бутылку водки. Илья Миронович, как нам известно, почти не пьет, у него от водки и вина за-

грудинные боли. Казя выпила только три рюмки, значит, все остальное приходится на долю Гулецкого, но Казя не из тех жен, которые сердятся на выпивающих мужей, она влюблена в Гулецкого, четверть столетия влюблена со всей свежестью и жадностью чувства, и он это знает. Только курить она его заставляет зимой в коридорчике, летом на балконе. Гулецкий, держа в руке сигарету и зажигалку, приглашает Илью Мироновича на балкон. Он прихрамывает, но движется без палки. Казя, пока мужчины на балконе, откупоривает вторую бутылку, ставит заранее, готовясь к чаю, на стол собственноручно испеченный торт с орехами.

Мужчинам с высоты балкона видна светло, по-южному неспешнодвигающаяся к Аркадии новая, послевоенная улица. Над густой зеленью деревьев – пустыня осеннего неба с оазисами закатных облаков. Внизу дети громко катаются в автомобильчиках и на самокатах. Напротив, у продуктового магазина, выстроилась очередь. Выбросили рыбу, продавец ее вытаскивает из зарешеченного конвейера на колесиках и кидает на весы. Очередь, как всегда, чем-то недовольна.

ГУЛЕЦКИЙ (куря и показывая вниз, на очередь). Шумят романтики моря.

Оба возвращаются в комнату, снова садятся за стол. Гулецкий наливает себе полную рюмку. Пьянея, он чувствует себя зорче, пронизательнее, умнее.

ГУЛЕЦКИЙ. Парадокс, профессор? А вы вникли в то, что все звери, в сущности, мещане. Волки или там львы – мещане. А среди нас, двуногих зверей, только лучшие – мещане. Привыкли ханжески презирать стремление людей хорошо одеваться, вкусно жрать, иметь красивую мебель в удобной квартире, но только так люди проявляют свои человеческие черты. Перестав быть мещанами, они становятся зверями. Все люди – звери. И точка.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Знакомая песня. Вы мизантроп?

КАЗЯ. Ты опять, Вика, за свое. Что такое мизантроп?

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Если звери – мещане, то почему же люди становятся зверями только тогда, когда перестают быть мещанами? У вас концы с концами не сходятся.

ГУЛЕЦКИЙ. Правильно вопрос ставишь, по-мещански: концы обязательно должны сойтись с концами. Не бойся, сойдутся. Послушай, профессор. Провели мы с Казей две недели в доме отдыха на даче Ковалевского, есть у нас такая местность за шестнадцатой станцией. Оказалось, что вблизи — мужской монастырь. Любопытно. В стране развитого социализма — мужской монастырь. Зашли, вход свободный. Много зелени, дорожки чистенькие, акации пахнут, церковь действующая, кладбище, все важные попы лежат, архиереи там и так далее, один даже из Сан-Франциско, на камне написано, видно, в девятнадцатом эмигрировал, приехал домой, в Одессу, умирать. С обеих сторон — деревья, а весь двор выдвинут в море, как причал, если, конечно, не знать, что там обрыв. Проходит мимо нас монах, в рясе, в клобуке, ну, как у них полагается. Держит большую жесткую метлу и совок. Смотрю — вроде лицо знакомое.

КАЗЯ. Представительный мужчина. Кавказского типа.

ГУЛЕЦКИЙ. Ты, говорю, Василь? А он: "Неужто Виктор?" А мы с этим Василем в штрафной роте воевали, вместе валялись на палубе, когда нас на пассажирском погнали из Ульяновска в Сталинград. Он раньше был старлеем, на "Кирове" служил, на крейсере. Осенью сорок первого, когда из Таллина драпанули, кораблей на Кронштадтском рейде скопилось, как сельдей в бочке, а у немцев авиация будь здоров, бомбили они наши корабли, а у нас прикрытия с воздуха нет. Вот Василь как-то сказал дружку: не лучше ли двинуться к берегам Англии, поможем союзникам, а в Кронштадте всех нас перебьют. Дружок, ясное дело, стукнул, и сорвали с Василя галуны, рядовым в штрафную роту. Что ж, может, к лучшему, "Киров" потом разбомбили, он потонул вместе с командным составом. В Сталинграде Василь испустил кровью, а как немцев там побили, нам с ним в один день офицерское звание присвоили, мне дали Героя, ему орден Красного Знамени. Мы с ним не то, что дружили, а считались — земляки, оба с юга Украины, я из Кировограда, он из Николаева. Он, поверите ли, сын милиционера... Василь, спрашиваю, как ты до жизни такой дошел, моряк — и на тебе,

монах. Я, говорит, уже не Василь. Как черноризцем стал, дали мне имя Михаил. Да, был моряком, до капитана третьего ранга дослужился, кораблем в Днепровской военной флотилии командовал, до Одера и Шпрее доплыл, ордена, медали, а как война кончилась, в монастырь удалился. Спрашиваю: "А семья?" Что семья, отвечает, отец на пенсии, домик у них с матерью на окраине Николаева, свои овощи, фрукты, мать меня навещает. Жена не навещает, хоть здесь, в Одессе живет, наверное, замуж вышла. Экономист она. Что ж, говорю, Василь, то есть отец Михаил, ты в Бога уверовал? А он: хочется верить, с верой жить легче, а без веры — неумоготу.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Теперь это в моду вошло. Православие и все такое. В двадцатых бессмысленно орали "Долой, долой монахов, раввинов и попов", а в шестидесятых так же бессмысленно толпятся на всенощную у церкви. Стадо.

ГУЛЕЦКИЙ. Но те, в двадцатых, сажали и расстреливали, а эти никого не сажают, не расстреливают. Есть маленькая разница, профессор, надо признать.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Признаю. У меня самого в тридцатых два брата, родной и двоюродный, в лагерях погибли, оба члены партии.

КАЗЯ. Мой отец не был в партии, а и он погиб. Это когда у нас в Киеве всех поляков подряд забирали.

ГУЛЕЦКИЙ. Вот и вдумайся, профессор, в слова отца Михаила. С верой жить легче. А без нее мы звери. В Освенциме я подружился с одним лагерником, подружился ненадолго, он умер в первый же лагерный год. Рядовой красноармеец, попал в плен, как и мы. Служил в дивизионной газете наборщиком, немцы не разобрались, наверное, решили — политсостав, вот и оказался он в Освенциме. Ни одного зуба во рту, кости да кожа в нарывах, а держался лучше тех многих, которые были помоложе, поздоровее. С большим достоинством человек. Одну его мысль я на всю жизнь запомнил. Он мне сказал: "Ошибочно думать, что только немцы — фашисты. Формула такая: человек минус Бог равняется фашисту. Всегда и везде".

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Очень, очень сомнительная форму-

ла. Я знаю людей, считающих себя верующими, они даже кичатся этим, а между тем люди это дурные, порой очень дурные. А сколько было прекрасных людей, не веровавших в Бога, возьмите Тургенева, например, наших революционных демократов, того же Плеханова. История учит...

ГУЛЕЦКИЙ. Я, профессор,неважно знаю историю, но почитываю. И прихожу к выводу, что в своей основе люди всегда были фашистами, зверями. И такими же остались зверями, какими были в первобытные времена, и позднее. Сам я неверующий, но хотел бы верить, чтобы порвать со своей звериной основой. Другого средства не вижу. Люди такие звери, которые осознают, втайне осознают, что суть их звериная, и стыдятся этого, и пишут ученые книги, сочиняют музыку, рисуют, лепят, строят здания с коринфскими колоннами или из бетона и стекла, но все это видимость. Еле заметный поворот времени — и все эти писатели, художники, строители, ученые — снова звери, жадные, себялюбивые, жестокие звери.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Я верю в прогресс. (*Голосом то ли извиняющимся, то ли лукавым, то ли раздраженным.*) Я убежденный марксист.

ГУЛЕЦКИЙ. Как Маркс-Энгельс-Ленин-Сталин?

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Последний примазался к великим.

ГУЛЕЦКИЙ (*снова наполняя свою рюмку*). А ведь и ты зверь, профессор. Выгодно тебе у нас в стране быть марксистом. Волк тоже убежденный марксист, когда близко добычей пахнет, мясом. Волк, однако, благородней человека. Свиноп, но не труслив, не раб. И не притворяется святым. Не обижайся, Илья, я не лучше тебя.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. А ведь в человечестве были настоящие святые. И среди христианских подвижников, и среди революционеров.

ГУЛЕЦКИЙ. Где-то я читал такую фантастику. Или фильм видел. Люди жили на другой планете, там был ядерный взрыв, и некоторые спаслись, на самолетах попали на землю. Вот я и думаю: смешались они, совокупились с человекоподобными обезьянами, и образовалось потомство —

жестокие, трусливые звери со смутной памятью о человечности. Порой в звере что-то просыпается, воспоминание какое-то, был когда-то другим, был человеком, и не только избранный, пророк там, вспоминает, а самый что ни на есть обычный человек, и вот неожиданно для других совершает человеческий поступок, и не то, что, скажем, ребенка приласкает, на это и зверь способен, а сотворит нечто такое, чего никто от него не ожидал, высокое, прекрасное, вспомнил, значит, ощутил в себе свое происхождение. Правда, случается это редко, но случается. Люди среди человекообразных еще более редки, чем гении среди людей.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Мы все трое воевали против фашизма, разве мы не видели чудеса храбрости, самопожертвования? Человек — трусливый зверь? И это говорите вы, живой пример солдатской отваги, Герой Советского Союза, да еще вынесли все муки Освенцима.

ГУЛЕЦКИЙ. Знаешь ли ты, что такое Освенцим? Видел ли ты, как эти вот смелые солдаты, Герои Советского Союза, целовали унтершарфюрера в задницу, чтобы выжить? Чтобы не в газоню? А ведь и вправду храбро в свое время воевали, но только тогда, когда были среди своих, в своей стае... Мой отец был мелким чиновником в ремесленной управе. Жили мы до революции небогато, но коммуналок тогда не знали, у нас была пятикомнатная квартира на окраине Елизаветграда, в одноэтажном доме, окна на степь смотрели... Когда большевики заняли наш городок, нас уплотнили, оставили нам только две комнаты. Соседи менялись, и вот под самый конец нэпа в одной из комнат поселилась семья: муж, жена и мальчик лет семи. Фамилия такая, что не забудешь: Ковганюк. Глава семьи окончил тракторные курсы, завидный в те годы жених, взял за себя на селе дочь самого зажиточного хлебороба, а потом они переехали в город, Ковганюк обслуживал на тракторе пригородные хозяйства, жена устроилась продавцом в булочной. Когда коллективизация была в разгаре, приехал я летом домой на недельку: больше нельзя было, во время время каникул наши сту-

денты отправлялись в плавание. Между прочим, спрашиваю маму:

- Где папины серебряные часы Буре? Что-то не вижу их.
- Я их отдала ковганюковой жене за кирпичик хлеба.
- Хороша соседка.

— Вика, это отвратительные люди. Как папа умер, так на второй день после похорон стали мне грозить, что выселят, не имею, мол, права жить одна в двух комнатах, в то время, как они, тракторист-коммунист с женой и ребенком, должны ютиться в одной комнате. В городе голод, люди умирают на улицах, а ковганюкова жена поперек себя шире, да и сам налился как боров. К ковганюковой жене приходит отец, он теперь раскулаченный, но от властей скрылся, нищенствует в городе, так она в комнату его к себе не пускает, выносит ему в переднюю помидорину, что гнить начала, да кусок хлеба и гонит вон...

И действительно, смотрю раз в окно, за вечерело, и появляется высокий худой старик, борода белая, длинная, прямо с иконы, Влас некрасовский. Это и был куркуль, отец ковганюковой жены. А внук его Женька, чистый кабанчик, вижу, бежит за ним, дергает его за рваную, грязную рубаху, кричит, удалец, забавляется, чтобы соседских мальчишек рассмешить: "Дидусь, продай бороду на мочалку". А дидусь шепчет неизвестно что — ругательства? Жалобы? Выбежал я во двор, дал Женьке пару оплеух, зазвал куркуля к нам, угостил его горячим сладким чаем, другого ничего не было, а сахар я привез из плавания. Старик налил чай в блюдечко, пил, что-то шептал, а что — не разобрать. Вошли, не постучавшись, Ковганюки, кто-то из них сказал: "Батько, идите до нас", старик испуганно посмотрел на них, снова что-то быстро и невнятно шептать начал, из глаз слезы капаят. Я прогнал Ковганюков, мы с мамой стали уговаривать старика остаться у нас ночевать, завтра по карточкам хлеб получим, может, и рыбу выбросят, в Церабкоопе камбалу обещали, вместе покушаем, а он все шептал что-то невнятное и плакал тусклыми слезами, но переночевать у нас не захотел, ушел, и я видел в окне, как он, прямой, высокий,

медленно бредет по дощатой улице. И теперь, когда думаю, совершил ли я в жизни хотя бы один человеческий поступок, не сталинградское геройство вспоминаю, а горячий сладкий чай, которым напоил куркуля, да еще мои оплеухи кабанчику-внуку, но при этом вспоминаю и дочь куркуля, грудастую, широкобедрую владычицу несметного количества хлеба, на глазах которой медленно умирал от голода ее родной отец. Что говорят ученые? Способна ли дочь волка на такую жестокость?

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Одну минуточку...

ГУЛЕЦКИЙ (*не желая слушать*). Выходит, что в человеке одновременно живут и волк, и подлый шакал, и лстивый, покорный пес, и трусливый заяц, только человек не живет в человеке. Живет в избранных, в святых, случайно освободившихся от скотства. Пока мы думаем о себе, что рождаемся на свет так же, как звери, как животные, подчиненные тем же биологическим законам — мы не люди. А ведь мы так думаем, так нас учат думать. И только тогда, когда в редкий, счастливый миг открывается нам чудо нашего божественного происхождения, только тогда рождается в нас человек. В редкий, счастливый миг. Иду по городу на своем протезе, смотрю на прохожих, сейчас на тебя, профессор, смотрю, а сам размышляю: каким бы он был в Освенциме? Или если бы стал конвойным? И отвечаю: зверем был бы, зверем, каким был я, какими были все, заключенные и конвоиры.

КАЗЯ (*со слезами в голосе, к Илье Мироновичу*). Он так говорит, не потому, что выпил, он в самом деле так думает. Значит, и я зверь? (*К Гулецкому.*) Зачем же я под огнем тащила тебя, раненого, на себе, потом валялась в ногах у хирурга в медсанбате, чтобы отнестя со вниманием, чтобы, уж если надо резать ногу, поскольку гангрена, то пусть отрежет пониже.

ГУЛЕЦКИЙ. Ты любила меня. И волчица может любить своего самца, есть примеры. Мы звери, Казя.

КАЗЯ. Вчера утром, когда мы в море ходили, я помогала тебе, чтобы ты на меня опирался, а ты, подпрыгивая на

одной ноге, сказал мне: "Саша, не надо, я сам". Сашу свою забыть не можешь. А не она ли поступила с тобой, как сука? Не признала тебя, когда ты в штрафники попал.

ГУЛЕЦКИЙ. Обмолвился. Бывает. Ты, зверушка, выше ее, ты лучше ее.

От этих слов Казя молодеет, она счастлива, потому что любит мужа, она знает, что полюбила впервые в жизни. Кроме того, ей приятно, что Гулецкий поставил ее выше своей первой жены при Илье Мироновиче.

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Не понимаю, с какой целью вы унижаете себя, Виктор. По принципу: я плохой, но и все остальные не лучше? Вы не были зверем в Освенциме. Я уже говорил вам, с какой благодарностью вспоминает о вас мой мюнхенский однофамилец. По словам Юзефа Помирчия, вы спасли его, а что вам был этот еврей, тем более, что вы евреев терпеть не можете.

ГУЛЕЦКИЙ *(с искренним удивлением)*. С чего ты взял?

ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ. Когда я, тогда, в Ульяновске, поднялся на борт "Петра Заломова", вы полюбопытствовали, не из абрамов ли я.

ГУЛЕЦКИЙ. Запомнил? Глупый я был. Злой и глупый. От злости глупый. Можно ли обижаться на штрафника? Но, говоря всерьез: что было бы, если бы судьба повернула свое колесо так, что евреи оказались бы не жертвами, а хозяевами, господами? Если бы мы, русские, были в Освенциме не заключенными, а конвоирами? Еврей ли, немец ли, всякие Руссо и Вольтеры — стаи разные, видимость разная, а сущность одна — звериная. И подлая. Заметь, когда люди друг с другом воюют, они норовят обвинить противника в жестокости, в зверствах. Понимают, сволочи, что действуют не по-людски, а действуют. Нет, профессор, как ни изворачивайся, а надо признать: если нет Бога, то человек — зверь. А разве Бог есть? Монах — и тот в Него не верит, только хочет верить, потому что понял: человек минус Бог равняется фашисту. Формула.

Казя внезапно поднимается так, что падает стул, она, прижимая руки к ушам, убегает на кухню, убегает, чтобы

плакать, громко, самозабвенно плакать. Гулецкий бросается вслед за ней. Помирчий, не понимая, что произошло, тоже приближается к кухне, но останавливается.

КАЗЯ. За что? За что? Больше не могу этого слышать, не могу больше! Лучше убей меня, но замолчи!

ГУЛЕЦКИЙ. Девочка моя, что с тобой? Чем я тебя обидел?

КАЗЯ. Как ты смотришь на меня все эти годы! Думаешь, не понимаю? Как смотрит на меня Илья Миронович! Для вас обоих я кто? Подстилка Бережного. Да, была легкомысленная, тщеславная, хотелось быть на виду, играть роль, чтобы даже офицеры зависели от меня, от двадцатилетней девчонки из семьи репрессированного. А как мучил меня Бережной, я об это никогда не рассказывала, от него потом воняло, изо рта воняло, у него не получалось, он злился, бил меня. Да, да, ты прав, ты ведь всегда прав, разве я лучше этого зверя.

ГУЛЕЦКИЙ. Панночка моя, сердце мое, опомнись, что ты говоришь, мы же с тобой войну прошли, ты же меня изпод огня на руках вынесла, сколько лет прожили вместе, никогда не разлучались, никогда не ссорились. Я же люблю тебя.

КАЗЯ. Я никого до тебя не любила, я не знала, что значит любить. Почему ты так говоришь обо мне, почему я зверь? Ведь ты для меня все, все.

ГУЛЕЦКИЙ. И ты для меня все. Не плачь, прошу тебя, не плачь.

Гулецкий целует ее слезы. Казя уже внутренне успокаивается, радуясь его словам, но еще не в силах прекратить рыдания.

КАЗЯ (*вспоминая давно забытое*). Найсвентша матко, Оборона наша! Змилуй ше надэ мной!

Картина двадцать восьмая

Э п и л о г

Голубой сентябрьский вечер входит через распахнутое окно в комнату. Над землей загораются многочисленные звездные миры. В наступившей тишине становится явственней голос невидимого моря. Его не видно из-за домов, но оно есть. Не все то есть, что видно, не все то видно, что есть. Что-то древнее и чрезвычайно важное и властное, до содрогания знакомое и нежное слышится троим в голосе моря. А, может быть, их не трое, а четверо, и с ними Тот, Незримый, и Он смотрит на детей своих с печалью и надеждой.

СОДЕРЖАНИЕ

В.Максимов. Путь вверх	5
С.Липкин. Картины и голоса	
Часть первая	10
Часть вторая	28
Часть третья	41
Часть четвертая	52